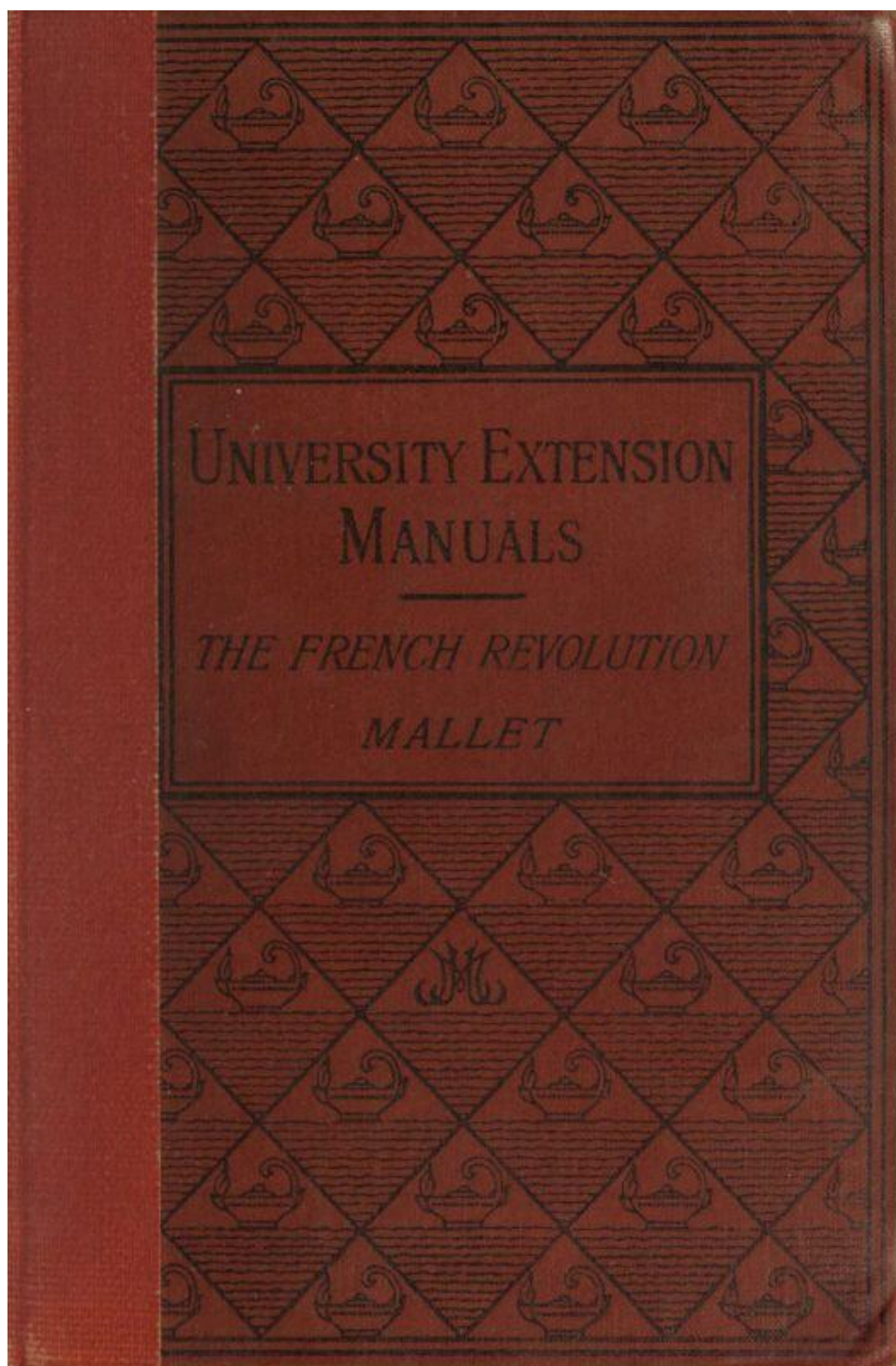


Французская революция

Сэр Чарльз Эдвард Маллет



The Project Gutenberg eBook of The French Revolution.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или использовать повторно на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Французская революция

Автор: Сэр Чарльз Эдвард Маллет

Дата выхода: 3 сентября 2023 года [eBook #71551]

Язык: Английский

Оригинальное издание: United Kingdom: John Murray, 1893

Кредиты: Брайан Коу, Грэм Макрет и группа онлайн-распределенной корректуры на сайте <https://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных The Internet Archive)

*** НАЧАЛО ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПРОЕКТА ГУТЕНБЕРГ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ***

РУКОВОДСТВА ПО РАСШИРЕНИЮ УНИВЕРСИТЕТА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФЕССОРА НАЙТА

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ОБЩИЙ ПЛАН СЕРИИ.

Эта серия в первую очередь призвана помочь движению за расширение университетов в Великобритании и Америке и удовлетворить потребность студентов в учебниках для изучения и справок в связи с авторизованными курсами лекций.

Тома, посвященные отдельным разделам литературы, науки, философии, истории и искусства, были поручены представительным литераторам, профессорам университетов или лекторам, работающим в Оксфорде, Кембридже, Лондоне, а также в университетах Шотландии и Ирландии.

Пособия предназначены не для начального образования, а для студентов, достигших определенного прогресса в изучаемых предметах. Изложение деталей призвано проиллюстрировать действие общих законов и развитие принципов, а историческая эволюция рассматриваемого предмета сохраняется в поле зрения, наряду с его философским значением.

Замечательный успех, который сопутствовал университетскому расширению в Великобритании, частично объясняется сочетанием научного подхода с популярностью, а также простотой и тщательностью. Однако это движение может охватить только жителей крупных населенных пунктов, в то время как по всей стране есть вдумчивые люди, желающие получить такое же обучение. Именно для них и предназначена эта серия. Ее цель - предоставить широкому читателю то же самое

учение, которое дается в лекциях, и отразить дух, характерный для этого движения, а именно: сочетание принципов с фактами, а методов с результатами.

Кроме того, пособия призваны внести вклад в литературу по предметам, которым они посвящены, совершенно не считая университетского распространения; некоторые из них будут отвечать скорее общим, чем специальным потребностям.

Французская революция

ЧАРЛЬЗ ЭДВАРД МЭЛЛЕТ

Выпускник Баллиол-колледжа, Оксфорд

Преподаватель истории в штате Оксфордского университета

ЛОНДОН

ДЖОН МЮРРЕЙ, АЛБЕМАРЛ-СТРИТ

1893

Оксфорд

ХОРАС ХАРТ, ПЕЧАТНИК УНИВЕРСИТЕТА

СОДЕРЖАНИЕ

СТРАНИЦЫ

Вводная часть

1-4

ГЛАВА I.

Состояние Франции в восемнадцатом веке

5-27

Старая монархия во Франции.- Выжившие свободные институты.- Централизованный деспотизм короны.- Положение и полномочия интенданта.- Пороки системы.- Правительство, чувствительное к критике, но всепроникающее.- Классовое деление.- Дворяне и их привилегии.- Разоренные дворяне провинций и богатые дворяне двора.- Церковь, и большие различия в ее состоянии.-Средний класс, его привилегии и льготы.- Посягательства и дух гильдий.- Положение беднейшего класса в городе и деревне.- Крестьяне, фермеры и метеки.- Феодальный гнет, от которого страдал крестьянин.- Поборы правительства.- Ошибки в системе налогообложения.- Система таможен и ее результаты.- Увеличение числа бродяг и беспорядков.- Изоляция рабочего.

ГЛАВА II.

Последние годы Древнего режима

28-54

Интеллектуальный бунт XVIII века.- Отречение от авторитетов и догм.- Возникновение новой политической философии.- Литературные лидеры.- Монтескье.- Вольтер.- Дидро и энциклопедисты.- Дефекты их теории.- Гельвеций и Гольбах.- Экономисты.- Морелли.-Руссо.- Причины влияния Руссо.-Социальный договор, его доктрины и недостатки.-Всеобщее распространение философского и гуманитарного духа в Европе.-Влияние на политику и общество во Франции.-Влияние очевидно в правительстве, в Людовике XVI, Турго и Неккере.- Правительство начинает проводить крупные реформы.-Прогресс правления Людовика.- Мария Антуанетта и Калонна.-Знаменитости 1787 года.-Ломени де Бриенн и борьба с Парламентами.-Соппротивление правительству.-Ассамблея Визилия.-Отзыв Неккера и созыв Генеральных штатов.-Затруднительная политика правительства.-Правила проведения всеобщих выборов.-Вопросы о численности Тирса, а также об объединении или разделении

трех орденов.-Резолюция Неккера.

ГЛАВА III.

Первые дни революции

55-70

Заседание Генеральных штатов.- Общины настаивают на разделении трех орденов.- Тупик на шесть недель.- Общины образуют Национальное собрание 17 июня.- Клятва Теннисного двора.- Королевское заседание 23 июня.- Преобладание партии двора.- Отставка Неккера.- Восстание в Париже и взятие Бастилии.- Серьезные беспорядки во Франции и две основные причины их возникновения.-Различные мотивы восстаний в стране.-Полный крах регулярной власти.-Спонтанная организация выборщиков.-Неудачная политика Собрания.-Его неопытность и восприимчивость.-Абстрактные дискуссии июля и августа.-4 августа.-Трудности Бейли и Лафайета в Париже.-Новые причины недовольства там.-Вспышка 5 октября и ее результаты.

ГЛАВА IV.

Деятельность Учредительного собрания

71-97

Склонность Собрания слепо следовать своим теориям, не обращая внимания на последствия.- Надежды на сильное правительство, разрушенные декретом от 7 ноября.- Результаты этого декрета.- Ревность исполнительной власти.- Новая система местного управления.- Ее недостатки.- Власть, сосредоточенная в новых муниципалитетах.- Обременительный характер обязанностей, налагаемых на активных граждан.- Два декрета, устанавливающие квалификацию для получения права голоса и для занятия должности.- Судебные реформы.- Военные и военно-морские изменения.-Решимость Ассамблеи сделать все выборным.-Церковная политика.-Конфискация церковного имущества.-Гражданская конституция духовенства.-Критика ее.-Последствия раскола в Церкви.-Финансовая политика Ассамблеи.-Меры Неккера.-Увеличивающиеся затруднения государства.-Происхождение ассигнаций.-Их последующая история и обесценивание.-Неадекватные попытки Ассамблеи сбалансировать свои доходы и расходы.-Ее трусливые финансы.-Критика ее действий.

ГЛАВА V.

Партии и политики при Учредительном собрании

98-128

Отсутствие реального партийного правительства в Собрании.- Постепенное формирование партий.- Консервативные правые и их различные группы.- Мори и Казалес.- Мунье, Малузэ и их друзья.- Партия реформ.- Байи, Съез, Талейран, Лафайет, Мирабо и другие.-Дюпор, Барнав и Ламет.-Робеспьер и крайние левые.-Преобладание демократической партии вне Ассамблеи.-Кордельеры, якобинцы и другие клубы.-Зарождение современной журналистики.-Великие журналисты и газеты.-Мирабо и Барер.-Бриссо, Лустало и Камиль Десмулен.-Марат и "*Ami du Peuple*".-Роялистские журналы.-Мале дю Пан и "*Mercure*".- Важные политики этого периода.-Филипп Орлеанский.-Неккер.-Граф де Прованс.-Лафайет.- Мирабо.-Исключительная проницательность и способности Мирабо.-Его цели и отношение к делу с самого начала.- Его желание создать сильное, народное правительство.- Его тщетные попытки завоевать Лафайета.- Его возвышение в Собрании.- Его записки для двора и планы по примирению короны с революцией.- Краткое описание его характера.

ГЛАВА VI.

Возвышение партии якобинцев

129-154

Революция состоит из двух отдельных движений, одно из которых в основном политическое, а другое - социальное.-Пауза в революции 1791 года.-Сочувствие большинства избирателей.-Классы, не получившие от революции того, чего они ожидали.-Бедствие среди ремесленников и рабочих.-Илогическое положение конституционной партии.-Причины ее

непопулярности среди бедных.-Якобинская теория.-Ее результаты на практике.-Ее триумф обеспечен насилием.-Различные причины беспорядков.-Усиление влияния силы в политике.-Численность партии якобинцев.-Ее полная организация.-Рост якобинских клубов.- Организация Парижской коммуны.-Влияние активных секций.-Возвышение Робеспьера.-Его характер и политика.- Результаты бегства короля в Варенн.-Отношение Якобинского клуба.- "Резня на Марсовом поле".-Ралли Конституционной партии.-Барьерные результаты их успеха.-Возрождение влияния якобинцев.-Видно на выборах.-Критическое состояние революции в конце 1791 года.

ГЛАВА VII.

Влияние войны на революцию

155-181

Отношение европейских держав к революции.- Екатерина Российская.- Густав Шведский.- Иосиф Австрийский.- Фридрих Вильгельм Прусский.- Испания и Англия.- Неприятности в Польше и на Востоке.- Вступление в должность Леопольда.- Его политика.- Французские эмигранты.-Их деятельность в Европе.- Армия Конде.- Взгляды Леопольда на французские дела.- "Августейшая комедия" Пилльница.- Заседание Законодательного собрания в Париже.- Появление партии жирондистов.- Цели республиканского меньшинства в законодательном собрании.- Военная политика жирондистов.-Их лидеры.- Декреты осени против эмигрантов и священников.- Министерство Нарбонны.- Политика якобинцев в отношении войны.- Жирондисты у власти.- Объявление войны.- Ее судьбоносные результаты.- Ход событий до 20 июня 1792 года.-Последняя попытка Лафайета спасти двор.- Манифест Брюнсвика.- 10 августа.- Дантон у власти.- Наступление союзников.- Сентябрьская резня в тюрьмах.- Ответственность за нее.- Битва при Вальми.- Отступление союзников.- Общие итоги революционной войны.

ГЛАВА VIII.

Падение Жиронды

182-207

Выборы 1792 года.-Участники Конвента.-Жирондисты и их советники.-Мадам Ролан.-Роль женщин во Французской революции.-Различие между жирондистами и якобинцами.- Различие скорее в поведении, чем в принципах.-Не место жирондистов как отдельной партии в революции.Их единственные отличительные черты - идеализированный республиканизм и политика войны.- Начало борьбы между двумя партиями.- Суд и смерть короля.- Деморализация политики.- Жирондисты теряют позиции, особенно в Париже.- Война после Вальми.-поражение Дюмуреа при Нервиндене - его дезертирство.-важные декреты Конвента весной 1793 года, подготовившие инструменты Террора.-экономические меры.-рост влияния якобинцев.-восстание в Вандее.-организация якобинских сил.- Жирондисты, не подготовленные, но встревоженные, нападают на якобинцев в апреле и мае.- Предупреждения Дютара.- Состояние чувств в Париже.- Арест Эбера и восстание якобинцев.- 31 мая и 2 июня.- Опасности якобинского правительства.- Его успех со всех сторон.- Судьба жирондистов и других.

ГЛАВА IX.

Якобинцы у власти

208-235

Конституция 93-го года.- Противоречие между якобинской теорией и якобинской практикой.- Конституция приостановлена.- Подстрекательство Конвента.- Заслуги его комитетов в деле реформ.- Революционное правительство в Париже и в провинциях.- Комитет общественной безопасности.- Его члены, его подразделения и его героическая работа.-Представители в миссии.-Различный характер их правления.-Их насилие и эксцессы.-Принципы террористов.-Влияние Парижской коммуны.-Суверенитет государства, навязанный во всех сферах жизни.-Государство, в обмен на беспрекословное повиновение, обязуется

обеспечивать всех своих подданных.-Методы, которыми оно это делает.-Попытки установить цены.-Максимальное безжалостное принуждение.-Руины, вызванные этими произвольными мерами в промышленности и торговле.-Всеобщая нехватка продовольствия.-Государство регулирует частное поведение и семейную жизнь.-Отказ от христианской веры и христианской эпохи.-Моральные результаты.- Идеалисты террора.- Его практические проводники.- Эбер и его партия.- Попустительство и жестокость многих ведущих террористов.- Общая никчемность их подчиненных.- Слепота и самообман лучших из них.- Полный крах террористического идеала.

ГЛАВА X.

Борьба партий и верховенство Робеспьера 236-260

Возвышение партии Коммуны.- Возникновение второй партии, дантонистов.- Отношение Дантона.- Его огромные заслуги перед революцией.- Его усталость от фракций и интриг.- Третья партия, представленная правительством того времени.- Восстание против эбертистов в Якобинском клубе.-Во главе с Робеспьером и Десмуленом.- *Вье Корделье*.- Возвращение Колло д'Эрбуа в Париж в декабре 1793 года усиливает эбертистов.- Конец борьбы.- Триумф правительства и падение двух других партий в марте 1794 года.- Казнь Дантона.- Видное положение Робеспьера.- Основания его популярности.- Его глубокая вера в себя.- Его искренние чувства.-Недостаток инициативы и изворотливая сдержанность.- Некомпетентность как практического политика.-Болезненная подозрительность.-Его сила.- Вера в Террор и попытки регулировать, но не остановить его.-Поклонение Верховному существу.-Закон 22-го прериала.-Борьба Робеспьера с коллегами.-Триумф Конвента 9-го термидора над Робеспьером и Коммуной.

ГЛАВА XI.

Реакция 261-283

Результаты падения Робеспьера.- Ход реакции против террора.- Гора, правые и термидорианцы.- Фрерон и "Молодые люди".- Закрытие Якобинского клуба.- Арест Каррье.- Возвращение запрещенных депутатов от правых.- Меры в отношении религии.- Арест Бийо, Колло и других.- Беспорядки в Париже.- Разрушение экономической системы террора.- Исследование финансов террористов.-Беспорядки и расходы правительства террора.-Меры Камбона по исправлению положения.-Республиканизация государственного долга.- Снижение курса ассигнатов.-Непрерывное банкротство в конце 1794 г.-Количество ассигнатов в обращении.-Свежие выпуски.-Быстрый спад.-Руина и бедствия, вызванные этим.-Высокие цены на продовольствие.-Всеобщий дефицит.-Восстание 12-го Жерминаля.- Меры реакции.-Восстание 1-го Прериала.-Подавление партии якобинцев и разоружение Парижа.- Ход войны.- Дух французской армии.- Представители миссии при ней.- Великие солдаты в ее рядах.- Ее реорганизация Дюбуа-Крансе.- Кампания 1793 года.- Победы на бельгийской границе, на Рейне и в Вандее.- Десять армий Республики.- Европейская политика.- Самолюбивые взгляды Тугута, австрийского министра.- Ревность между Австрией и Пруссией.Начало польского восстания.- Победы французов в Бельгии и Голландии.- Мир в Бале.- Перспективы всеобщего мира и реставрации роялистов.- Реакция проверена.- Смерть Дофина.- Экспедиция в Киберон.- Белый террор.- Конституция III года.- Фруктидорские декреты.- Восстание 13-го Вандемьера.- Учреждение Директории.- Заключение.

Таблица дат 285-290

Приложение книг 291-293

Указатель 295-307

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В этом небольшом томе я не пытался написать историю Французской революции. События этого драматического повествования были набросаны многими руками, и их можно найти в сотне историй. Сейчас они вряд ли нуждаются в пересказе. Я скорее попытался, принимая как данность некоторое знание истории, предоставить то, что обычно не хватает в справочниках, и собрать в удобной форме некоторые сведения, предложения и идеи, которые можно найти в более крупных книгах с комментариями и исследованиями. Труды, подобные работам М. де Токвиля, М. Тейна, М. Мишле, М. Луи Блана и профессора фон Зюбеля, не всегда легко достать. Их стоимость и объем в равной степени делают их недоступными для тех, кого время и необходимость заставляют быть поверхностными студентами. Поэтому я попытался в некоторой степени обобщить то, что рассказывают эти и другие авторы; остановиться на некоторых экономических и политических аспектах французского общества до революции; объяснить более очевидные причины, по которым произошла революция; показать, почему люди, совершившие ее, не смогли, несмотря на весь свой прекрасный энтузиазм, достичь свободы, которой они так страстно желали, или основать новый порядок, который они надеялись увидеть во Франции; описать, каким образом, благодаря каким искусствам и случайностям, и в силу каких более глубоких причин, незаметное меньшинство постепенно превратилось в победоносную партию и взяло на себя руководство событиями; указать, каким образом внешние обстоятельства поддерживали революционную лихорадку и заставляли Революцию двигаться вперед, когда многим казалось, что необходимость в ее продвижении уже миновала, а ее собственные авторы желали, чтобы она приостановилась; и прояснить, если смогу, для других то, что всегда оставалось для меня загадкой того времени, - истинный характер и цели людей, захвативших верховную власть в 1793-4 годах, державших ее с таким сочетанием энергии и глупости, героизма и преступления, и приступивших, посредством анархии и террора, к экспериментам, как можно уничтожить социальное несчастье и достичь всеобщего благоденствия с помощью радикальных философских средств, применяемых деспотами и приводимых в исполнение смертью. В истории нет проблемы более интересной и более запутанной и неясной.

Я не сознаю, что подхожу к этой теме с предубеждением в пользу какой-либо партии. У меня нет причин выступать за или против какого-либо человека или группы людей. Я попытался рассмотреть все стороны и учесть те глубоко укоренившиеся предрассудки, которые, кажется, делают большинство французов неспособными судить о событиях. Но когда, по имеющейся у меня информации, факты представлялись ясными, я без колебаний хвалил, порицал или осуждал. Добавлю лишь, что я очень тщательно обдумал высказанные мною суждения, хотя и не могу надеяться, что они понравятся всем одинаково.

Книги такого рода не могут претендовать на большую оригинальность, и я не претендую на то, чтобы идти в ногу с постоянно накапливающейся литературой, которую французская пресса выпускает по этому вопросу каждый год. Я свободно пользовался работами таких современных авторов, как мсье де Токвиль, мистер Джон Морли, мистер Морс Стивенс и других, и мои обязательства перед ними очевидны. Я также в значительной степени опирался на великий труд М. Тейна, и, допуская предвзятость автора и полностью признавая, что метод М. Тейна имеет тенденцию разрушать чувство меры и в некоторой степени создавать размытое и преувеличенное впечатление о фактах, я все же не могу поставить под

сомнение вес и ценность массы информации, которую он собрал, и никто не может справедливо игнорировать уроки, которые он преподносит. Кроме этих книг, я думаю, что могу сказать, что я прочитал и проконсультировался с большинством материалов в историях, мемуарах, биографиях и других источниках, которые предоставили многие известные французские писатели по этому вопросу, и я уделил особое внимание объемным историям М. Луи Блана и М. Мортимера-Терно, на переписку Мирабо и Ла Марка, на мемуары и труды Бейли, Ферьера, Малле дю Пана, мадам Ролан и М. де Понтекулана, на биографии великих якобинских лидеров, особенно на те, что написаны М. Гамелем и М. Робине, и на ценные и важные работы М. Сореля, профессора Шмидта и профессора фон Зибеля. Этот список не является полным или исчерпывающим; но я надеюсь, что его достаточно, чтобы обосновать мнения, которые я сформировал.

В конце я привел в небольшом приложении список известных книг по этому периоду, который, возможно, будет полезен студентам, желающим более полно изучить предмет самостоятельно.

ГЛАВА I.

Состояние Франции в восемнадцатом веке.

Историки до сих пор не определили, с какого момента начинается Французская революция. Но даже враждующие школы сходятся в том, что целью этого великого движения, если не считать его случайностей и несбывшихся мечтаний, было разрушение древнего европейского общества, основанного феодализмом и искаженного временем, и замена его более простой социальной системой, основанной, насколько это возможно, на равенстве прав. Поэтому вряд ли стоит тратить время на то, чтобы попытаться проследить некоторые основные черты старой монархии Франции в тот момент, когда феодальное здание рушилось и собиралась буря, которая должна была смести его.

Гордостью последующих королей Бурбонов было осуществление замысла, который Людовик XI завещал Ришелье, а Ришелье интерпретировал для преемников Людовика, - замена тесной централизованной деспотии на феодальные и аристократические институты, с одной стороны, и на местные и национальные свободы - с другой. К середине XVIII века триумф этой политики был полным. Пережитки старой системы, правда, еще оставались. Множество чиновников и властей, с различными и противоречивыми претензиями, все еще покрывали страну, напоминая в своем происхождении то обычаи средневековья, то потребности короны, то более ранние традиции свободы. Многие феодальные сеньоры по-прежнему претендовали на юрисдикцию и полицейские права. Города и поселки по-прежнему гордились своими муниципальными конституциями и подчинялись им. Крестьяне в сельской местности по-прежнему созывались на церковную паперть колоколом, чтобы принять участие в выборах приходских чиновников. Немногочисленные дворяне все еще носили титул губернаторов провинций. Независимые органы власти со старинными титулами все еще претендовали на то, чтобы заниматься дорогами и финансами. Местные Парламенты с их наследственными и независимыми судьями сохраняли свое достоинство суверенных судов, сохраняли право обсуждать эдикты короля, проявляли ревнивую бдительность по отношению к правительству и церкви и осуществляли значительные административные полномочия. В нескольких отдаленных провинциях, называемых Pays d'État и включающих, наряду с некоторыми более мелкими районами, древние вотчины Лангедок, Бургундия,

Бретань, Артуа и Беарн, ежегодные ассамблеи, представляющие дворян, духовенство и коммуны провинции, по-прежнему демонстрировали теорию самоуправления и сохраняли значительные налоговые и административные права. Церковь с ее огромными ресурсами и сильным корпоративным чувством все еще во многих вопросах отстаивала свою независимость от государства, управляла своими делами, устанавливала собственные налоги и претендовала на монополию в области народного образования и охрану общественной морали и ее выражения в прессе.

Но среди руин старых институтов и слияния бесчисленных противоречивых прав постепенно выросла новая система управления, которая узурпировала всю реальную власть во Франции. Во главе ее стоял Совет короля с центром в Версале. Совет представлял во всех департаментах монополию государства. Он был верховным судом, поскольку имел право отменять решения всех обычных судов. Он был верховным законодательным органом, поскольку Генеральные штаты, древний представительный парламент Франции, не созывались с начала XVII века, а местные судебные Парламенты, хотя и могли обсуждать эдикты Совета, не могли в последней инстанции противостоять им. Совет был верховным во всех административных и финансовых вопросах. Он управлял страной. Он собирал и устанавливал налоги. В нем один перегруженный министр, генеральный контролер, взял на себя ответственность за все внутренние дела.

В подчинении Совета и только ему одному в каждой из тридцати двух провинций или "генералитетов" королевства находился один всемогущий агент, называемый интендантом. Интендант набирался не из дворянства, а из профессионального сословия. Он руководил сбором и распределением всех налогов, которые не были переданы Советом финансовым компаниям. В отдельных случаях он решал, какие льготы следует разрешить. Он отвечал перед Советом за строительство шоссейных дорог и за все крупные общественные работы^[1]. Он обеспечивал выполнение ненавистной обязанности ополченцев. Он поддерживал порядок с помощью конной полиции. Он выполнял полицейские предписания местных властей и более властные и всеобъемлющие предписания, время от времени издаваемые Советом. В исключительных случаях он обладал большими судебными полномочиями. Поскольку обычные судьи были независимы от Короны, Совет увеличил число чрезвычайных трибуналов и передавал на их рассмотрение все иски, в которых права Короны были хоть в малой степени затронуты. В таких случаях интендант выступал в качестве судьи как по гражданским, так и по уголовным делам, и его решение могло быть обжаловано только в Совете. Эта практика, однажды установившаяся, была, конечно, расширена и часто злоупотреблялась в интересах власти, поскольку принципы обычных судов, по признанию интендантов, "никогда не могли быть согласованы с принципами правительства".

Кроме того, интендант был еще и благодетелем. Он подавлял нищенство и арестовывал бродяг. Он распределял средства, которые, в отсутствие какого-либо законодательного положения о бедных и в связи с отказом сеньоров от старой феодальной обязанности обеспечивать своих обездоленных иждивенцев, Совет ежегодно выделял на эти цели. Он контролировал благотворительные мастерские, которые ежегодно учреждал Совет. Во времена дефицита именно он должен был находить пищу для населения или, если пища не поступала, подавлять беспорядки, которые провоцировала ее нехватка. В сельских округах интендант оказывал свое высокое покровительство крестьянам и поощрял сельскохозяйственные улучшения. В деревнях, хотя сила древнего обычая все еще влекла жителей на сельские сходы, эти собрания не могли проводиться без разрешения интенданта; они сохраняли лишь академическую привилегию дебатов; а когда они избирали своего синдика и коллектора, то часто выбирали лишь кандидатов интенданта. Даже в тех

городах, которые обладали муниципальной свободой, интендант постоянно вмешивался во все важные и многие мелкие дела, а мещане заявляли, что охотно подчиняются "всем повелениям его величия". В каждой из провинций Франции интендант олицетворял всемогущество и власть правительства; распоряжения, которые он получал от генерального контролера, он в свою очередь диктовал штату агентов, называемых субделегатами и зависящих от него; а эти субделегаты, распределенные по различным кантонам провинции, выполняли приказы своего интенданта, помогали его замыслам и были ответственны только перед своим начальником, как он был ответственен перед Советом в Версале.

Нетрудно понять, чем плоха такая система. Чрезмерная централизация правительства и обширные полномочия возлагали на генерального контролера и его агентов тяжелое бремя деталей. Отчеты и документы множились. Время и силы тратились впустую.

"Административные формальности, - заявлял Совет в одном из своих протоколов на сайте, - приводят к бесконечным задержкам". Любой мелкий местный вопрос - строительство приюта для бедных, ремонт угла деревянной церкви - должен рассматриваться министром в Версале. Ни одно решение не могло быть принято до тех пор, пока субделегат не докладывал интенданту, интендант - генеральному контролеру, а тот, измученный чиновник, объединяющий в своем лице все обязанности и недоумения, которые в Англии распределены между канцлером казначейства, министром внутренних дел, министром сельского хозяйства, президентом Совета торговли, президентом Совета местного самоуправления и главным комиссаром работ, лично рассматривал вопрос и снова передавал свое решение через интенданта субделегату. Кроме того, помимо досадных проволочек, эта система была чревата злоупотреблениями. Власть правительственных агентов была столь же широкой, как и власть самого правительства. Арест и тюремное заключение были одним из их обычных орудий. Вооруженные всей полнотой власти государства, они нередко подражали его произволу и не могли отделить свои личные склонности и обиды от общественных нужд.

Однако действия центрального правительства в XVII и XVIII веках, похоже, часто были нерешительными и редко - намеренно суровыми. Буква закона часто была варварской и жесткой, в то время как его исполнение было легким и вялым. К критике правительство было не прочь прислушаться. Его намерения были благожелательными и признавались таковыми. Любой человек выше низшего сословия мог протестовать, если с ним поступали несправедливо, и, как правило, его протест был услышан. Тень прежней свободы еще не совсем сошла с лица Франции. Только самый низкий и несчастный класс, который больше всего нуждался в средствах сопротивления, не имел возможности сопротивляться, кроме как силой. Но как ни благотворны были цели всепроникающего государства, его влияние было пагубным. Постоянно опираясь на свое правительство и приученный искать у него инициативы, поощрения, защиты во всех сферах жизни, народ Франции забыл как практику общественной свободы, так и ценность частной независимости; и как деспотизм Бурбонов непосредственно проложил путь к революции, нивелировав многие из тех неравенств, которые спасают государство, так он оставил огромное большинство французов лишенными как политического понимания, так и чувства личной ответственности, которые создает только привычка к самоуправлению.

Однако еще более фатальными для национального процветания были глубокие разногласия, разделявшие классы, - разногласия, поддерживаемые и подчеркиваемые привилегиями, явно несправедливыми. Дворянство, духовенство, средний класс - каждый из них составлял отдельный порядок в государстве, со своим определенным рангом и прерогативами. Дворяне, которых, по приблизительным подсчетам, насчитывалось около ста сорока тысяч

человек, составляли отдельную касту. Все рожденные дворянами оставались дворянами, и даже младшие сыновья не опускались в ряды простолюдинов. Дворянам принадлежала, пожалуй, пятая часть земли, и они сохраняли связанные с ней древние права, которые когда-то были наградой за феодальные обязательства, но сохранились и тогда, когда эти обязательства давно перестали выполняться. Штрафы и сборы, пошлины и пошлины, исключительное право охоты, стрельбы, рыбной ловли, содержания голубей и голубки, привилегия содержать сеньориальную мельницу и винный пресс, сеньориальную скотобойню и печь - все это помогало поддерживать дворянское достоинство и увеличивало его доход. Чем больше уходила его реальная власть, тем сильнее он цеплялся за свои наследственные права. Когда правительство узурпировало его место местного правителя, он лишь ревностнее укрепился в своем феодальном положении. Он никогда не встречался со своими соседями, поскольку не было общественных проблем, которые могли бы их объединить, а все дела находились в руках правительства. Он потерял всякий интерес к местным делам. Если он был богат, то уезжал жить в Париж или Версаль. Если он был беден, он закрывался в своем загородном доме и утешался созерцанием своей гордости. Но в обмен на полномочия, которых оно его лишило, правительство даровало дворянину привилегии, которые завершали его изоляцию от окружающих. Он и только он мог быть спутником своего государя. Он и только он мог занять высокое положение в армии или церкви. Он и его иждивенцы были освобождены от угнетающих обязанностей, таких как служба в ополчении или работа на дорогах. Он ничего не знал о страшном бремени налогов, которое калечило и угнетало бедняков. Он вообще был освобожден от уплаты Taille, самого тяжелого из всех налогов; и даже те поборы - Poll-tax и Vingtièmes, - которыми он облагался, взимались с него с особым снисхождением. Чем больше богатство или положение человека, тем больше у него было шансов получить легкие условия. Правительственные агенты считали себя обязанными действовать "с особым вниманием" при сборе налогов со знатных людей. "Я улаживаю дела с интендантами, - говорил герцог Орлеанский, самый богатый человек во Франции, - и плачу столько, сколько хочу".

И все же внутри этого привилегированного сословия различия в жизни были заметны. До конца XVIII века многие старые семьи разорились и жили в самых стесненных обстоятельствах, на доходы в сто, пятьдесят, даже двадцать пять фунтов в год, крепко держась за титулы и иммунитеты, которые только и отличали их от бедняков, вынужденные по необходимости требовать с крестьян все, что позволял им обычай, и живущие в основном за счет зловещей пышности касты. Разительный контраст с разорившимися дворянами провинций составляло гораздо меньшее и более блестящее сословие, входившее в состав двора. Ни один дворянин не жил в стране, который мог позволить себе жить в Париже или Версале. Не быть замеченным при дворе было равносильно безвестности или позору. Дворяне Вандеи вызывали недовольство правительства своей упрямой приверженностью к загородным домам и прискорбным нежеланием исполнять свои обязанности по отношению к персоне короля. И все же дворяне Вандеи были единственной частью французской аристократии, которая в дни революции погибла, сражаясь за корону.

При дворе лидеры общества подавали дикий пример экстравагантности. Трудно преувеличить пышность и изобилие Версаля. У каждого принца и принцессы было отдельное заведение с иждивенцами, умноженными пропорционально рангу владельца. В хозяйстве королевы насчитывалось всего пятьсот человек, графа д'Артуа - почти семьсот, короля - тысяча только в гражданском ведомстве^[2]. В те времена Великих сеньоров отличало то, что они игнорировали стоимость денег - , как полагают обыватели, это отличает их подражателей и сейчас. В этом отношении король затмил всех Великих сеньоров своего двора. Людовик XIV потратил тридцать миллионов стерлингов на один дворец. Его преемник

растратил три миллиона на одну любовницу. Пенсии, синекуры, пособия разбрасывались щедрой рукой. Когда Неккер только вступил в должность, сумма начислений по пенсионному списку превышала два миллиона с четвертью. Герцог Орлеанский, имея доход в четверть миллиона, получал большую пенсию от короны, а умер почти с шестью миллионами долга. Искусство тратить деньги было одним из секретов искусства нравиться, и нигде искусство нравиться не изучалось с большей тщательностью и успехом. В очарованном кругу этого ослепительного, отполированного двора удовольствие шествовало величественным и неуклонным шагом. Вежливость предписывала всем быть приятными, остроумными, легкомысленными и воспитанными. Но непрерывная погоня за удовольствиями, хотя и сопровождаемая прекрасными милостями, изгоняла всякую мысль о других, прикрывая эгоизм восторгом, и счастливы, попавшие туда, естественно, забывали о несчастье, царившем среди несчастных за пределами .[3]

Рядом с привилегированным дворянским сословием стояла привилегированная корпорация Церкви. Как и дворяне, церковь владела огромными земельными владениями, которые занимали примерно пятую часть Франции, и которые во многих случаях хорошо управлялись. Как и дворяне, церковные сановники сохраняли древние феодальные права, оставшиеся со времен, когда они управляли страной, а также разнообразные пошлины и сборы и свою особую прерогативу - десятину. Как и дворяне, они уклонялись от уплаты налогов. Собрание духовенства, собиравшееся каждые пять лет, договаривалось с короной о своих взносах в казначейство и добивалось многочисленных уступок от местных властей, где бы ни затрагивались его интересы. Кроме того, церковь по-прежнему обладала политической властью. Никто во Франции не имел законного права жить вне ее пределов. Она контролировала школы, вела приходские реестры, от которых зависело право человека на собственность и его имя; ради католической истины она сжигала своих противников, а цензурой прессы заставляла умолкнуть все оскорбительные высказывания.

Церковь, как и дворянство, также отличалась контрастами состояния. Великие прелаты, жившие при дворе, со всей щедростью мирян поддерживали благовоспитанный достаток этого места. Их богатство соперничало с богатством принцев. Архиепископ Камбрейский был феодальным сюзереном семидесяти пяти тысяч человек, владыкой города Камбрея, покровителем двух великих аббатств, а также герцогом и графом. Церковные доходы архиепископа Тулузского М. де Бриенна, помимо министерского жалованья и пенсии, превышали, по современным меркам, пятьдесят четыре тысячи фунтов. Архиепископ Руана, помимо епископских доходов, получал от своих аббатств двадцать тысяч фунтов в год. Епископ Труа принимал кающихся в исповедальнях, обитых белым атласом. Месье де Роан, наследственный епископ Страсбурга, устраивал великолепный суд в своем большом дворце в Саверне и возвышал достоинство князя Церкви тем, что все его кастрюли были сделаны из серебра. Если сравнить с этим утонченным существованием состояние подавляющего большинства приходских священников, чье плебейское происхождение закрывало им путь к преференциям, которые жили, часто в разрушенных и запущенных пасторалях, в заброшенных сельских районах, не имея вокруг себя образованных друзей, раздавая скудные милостыни августейших начальников, которые не могли покинуть двор, чтобы навестить их, и поддерживая возвышенные притязания католической церкви на доходы в сорок, двадцать и шестнадцать фунтов в год, перестаешь удивляться тому, что священники ненавидели жребий, который "заставлял кричать даже камни и балки их убогих жилищ", и что, когда наступил день расплаты, они приветствовали разрушителя и отказались даже пальцем пошевелить, чтобы защитить существующую систему в церкви Франции.

Однако, помимо преимуществ, связанных с рангом, у среднего класса были свои привилегии и исключения. Одни пользовались иммунитетом как слуги правительства, другие - как члены могущественных корпораций; третьи, опять же низшего класса, изгнанные из сельской местности поборами правительства и требованиями сеньоров, которые настаивали на своей дани, презирая их общество, укрылись в городах и там образовали свою собственную касту. В ранние времена в большинстве крупных городов Франции существовали две ассамблеи: одна состояла из магистратов и чиновников, которые были обязаны своими должностями изначально народным выборам, а затем покупке у короны, другая - из всех горожан, а затем из местных "знатных особ", представлявших различные компании и гильдии. Однако к концу XVIII века народный дух, который когда-то давал жизнь всем этим институтам, давно угас. Муниципальные чиновники покупали свои места у правительства и передавали их от отца к сыну. Представительное собрание перестало представлять кого-либо, кроме знатных мещан города. То, что когда-то было общественными почестями, оказываемыми голосами свободных граждан, повсеместно превратилось в частные права, прерогативу одного сословия или нескольких важных семей.

Обладателей этих прав подкупали, чтобы они поддерживали существующий порядок тысячами мелких почестей и льгот, среди которых большую роль играло освобождение от налогов, и они поддерживали гордость своего положения, проводя ревнивую границу между собой и непредставленными ремесленниками внизу. Гильдии, первоначально созданные для приемных семей, до сих пор сохранились, чтобы сковывать торговлю городов. Но со временем эти гильдии размножились по всем отраслям торговли; привилегия управлять ими в большинстве случаев была узурпирована или куплена узкой группой членов; а установленные ими пошлины и правила легко способствовали усилению классовых интересов и классового разделения. Все ремесленники, которые не были сыновьями мастеров, назывались "чужаками" и находили бесчисленные препятствия на пути своего продвижения. Страсть к месту, которая, как кажется некоторым наблюдателям, была присуща французскому среднему классу, старательно поощрялась министрами, которые, умножая мелкие должности и достоинства, наполняли казначейство, успокаивали жалобы и завоевывали сторонников. Каждое из этих маленьких мест несло в себе особые привилегии и отличия; таким образом, в сознании тысяч людей стремление обладать какими-то мелкими преимуществами перед соседями вытесняло более масштабные устремления, которые могли бы привести к общественной свободе. В одном небольшом городке знатные люди были разделены на тридцать шесть различных органов, с разными правами и степенями. Каждый торговец пользовался особым знаком отличия. Хозяин лавки сидел на более высоком месте, чем его помощники. Портной мог носить только одну пряжку на своем парике, в то время как гордый аптекарь мог похвастаться тремя. Однажды мастера по изготовлению парика в Ла-Флеш прекратили работу, чтобы выразить свое "обоснованное огорчение, вызванное преимуществом, отданным пекарям". Зло, порожденное кастовостью и привилегиями, вряд ли можно было довести до более смехотворных крайностей.

Но в то время как каждый из образованных классов обладал своими отличительными знаками, чтобы вооружить революцию и направить ненависть, один класс, самый низкий, не имел ничего, кроме привилегий своих начальников, чтобы обозначить свое положение в государстве. В городах подавляющее большинство трудящихся было лишено монополиями гильдий всякой перспективы, кроме вечного подчинения. Их заработная плата, как в городе, так и в деревне, составляла немногим более половины того, что они получают сегодня, а покупательная способность, которую эта зарплата представляла, была гораздо меньше. И если в городах перспективы были мрачными, то в деревне их положение было бесконечно хуже. Именно там люди в наибольшей степени ощущали неумолимое упорство жизни. Всем

известна картина Ла Брюйера, изображающая диких на вид крестьян Франции, их лица, почерневшие от нужды, труда и солнца, рабов земли, над которой они трудились с таким непобедимым терпением, которые "казались просто способными говорить, а когда стояли прямо, то демонстрировали черты лица мужчины". Их жилища часто представляли собой хижины без окон, одежда - грубая шерстяная одежда, пища - гречка, каштаны и самый грубый хлеб. И все же эти несчастные существа во многих случаях были владельцами земли, которую они обрабатывали. Страстная любовь к земле, которая отличает французского крестьянина наших дней, не была привита ему революцией. На протяжении многих поколений до нее единственным предметом его устремлений, единственной целью, ради которой стоило жить, была надежда получить часть земли, которую он обрабатывал. Живя в нищете, он, тем не менее, постоянно держал эту цель в поле зрения. Ради этой цели он копил, трудился и голодал. Обедневшее дворянство легко пошло на соглашение, и таким образом во Франции почти незаметно возникло огромное количество мелких владений, которые, по оценке гениального и наблюдательного Артура Янга, занимали "треть королевства".

Рядом с этими мелкими владениями, которые, как правило, становились все меньше в процессе непрерывного дробления, располагались крупные владения дворян, духовенства, магистратов и финансистов. В некоторых случаях эти поместья обрабатывались в крупных масштабах арендаторами, получавшими арендную плату в виде денежной ренты, и на севере эти хозяйства были многочисленны и хорошо отвечали на запросы. Но нетерпение и нехватка капитала, погубившие все французское сельское хозяйство в XVIII веке, сделали аренду непопулярной, и большинство крупных собственников вернулись к системе *Métayage*, или земледелию с половинной прибылью, при которой помещик поставлял и заготавливал землю, а рабочий давал свой труд, и прибыль делилась между ними. В Анжу, где помещики проживали своих поместьях, лично знали своих мэтров и контролировали их труд, эта система процветала. Но в большей части Франции мэтры были предоставлены помещиками самим себе и жили в величайшем бедствии, без предприимчивости, без капитала, часто в долгах, зарабатывая едва ли достаточно, чтобы обеспечить себе пропитание, и не желая напрягаться, чтобы увеличить прибыль, которую они должны были делить с хозяином, который не знал их и не заботился о них. "Метайер, - говорит один сострадательный сеньор, - содержится в униженном состоянии людьми, которые вовсе не бесчеловечны, но чьи предрассудки... заставляют их рассматривать его как существо другого рода". До начала Революции крепостное право, за исключением некоторых отдаленных районов, было ликвидировано во Франции; но положение мэтэра в материальном отношении было немногим выше крепостного. В некоторых случаях, правда, ему удавалось приобрести, независимо от своего метиса, небольшой участок земли, который он обрабатывал с тщательностью, не терпящей отлагательств; и в некоторых районах эти участки окупали затраченный на них труд и учили своих владельцев самоуважению и достоинству, которые дает независимость. Но в целом даже эти небольшие наделы, как бы многочисленны они ни были, были удручающе малопродуктивны, а владевшие ими метеки и поденщики разделяли общую депрессию своего класса.

Однако, помимо плохого ведения хозяйства и бедности земли, французскому крестьянину приходилось сталкиваться и с более серьезными проблемами. Тень феодализма все еще лежала на его пути. Даже там, где он был собственником земли, она была обложена бесчисленными пошлинами и платежами, от которых он не мог освободиться и которые не мог выкупить. Всякий раз, когда крестьянская собственность переходила из рук в руки, сеньор вступал в дело, чтобы потребовать свой штраф. На дорогах и мостах сеньор требовал плату за проезд. На рынках и ярмарках сеньор требовал свои пошлины и продавал

крестьянину право продавать другим продукты своего хозяйства. Иногда сеньор по-прежнему требовал от крестьянина безвозмездно потратить его время и труд. Повсюду права сеньора заставляли крестьянина молоть пшеницу только на феодальной мельнице и давить виноград только в феодальном винном прессе. И еще хуже этих требований был бич законов о дичи. Только сеньор мог ловить рыбу в ручье, протекавшем через крестьянскую ферму. Только сеньор мог стрелять в дичь, которая портила крестьянские посевы. Только сеньор мог охотиться на крестьянской земле. В огромных капитулах, занимавших во Франции около четырехсот квадратных лиг, олени и крупная дичь, сохраненные для княжеского спорта, бесконтрольно бродили по полям и виноградникам жителей, и горе тому крестьянину, который осмеливался посягнуть на их свободу! Каждое лето жители деревень в окрестностях Фонтенбло, где далеко простирались капитулийские владения, были вынуждены организовывать сторожевые роты и дежурить всю ночь в течение шести месяцев в году, чтобы спасти свои виноградники и урожай от уничтожения. Если крестьянин осмеливался оспорить какое-либо из этих прав, на помощь ему приходили суды сеньора, которые изматывали его непрерывными тяжбами и внушали ему, что, хотя он и перестал быть крепостным, сеньор по-прежнему остается его господином. Иногда все эти права продавались обедневшим сеньором группе спекулянтов, а жалость спекулянтов обязательно ограничивалась соображениями выгоды. Когда сеньор расправлялся с крестьянином, в дело вступали эмиссары церкви, чтобы забрать у него десятину на духовные цели и напомнить, как много он должен им за развитие своего интеллекта и попечение о своей душе.

Но и сама корона принимала активное участие в разорении бедняков. Приняв для государственных нужд старый феодальный институт корвеев, правительство в определенные времена года призывало крестьян покидать свои поля без компенсации, чтобы проложить и отремонтировать дороги; и по своеобразной иронии судьбы, хотя крупные магистрали содержались таким образом исключительно за счет крестьян, дороги, в которых крестьяне действительно нуждались, - перекрестки в сельскохозяйственных районах - были оставлены в запустении и небрежении. Еще более одиозными были требования службы в ополчении. Каждый неженатый мужчина в возрасте до сорока лет мог быть призван на эту тягостную повинность. Замена не допускалась. Хотя для богатых людей освобождение от службы было бесчисленным, для беднейших слоев населения не допускалось никаких послаблений. Единственным средством спасения были необдуманные браки. Приближение правительственного агента было сигналом к панике и беспорядку, и несчастные жители бежали в леса, чтобы укрыться.

Еще более тяжкими, чем Корве и ополчение, были злоупотребления, пронизывавшие всю систему налогообложения. Самым тяжелым из всех налогов было ужасное бремя *Taille*, прямого налога, взимаемого то с имущества, то с дохода, почти полностью ложившегося на бедняков - как и на борющихся с трудностями землевладельцев, так и на безземельных рабочих, - начисляемого без всякого порядка и метода, постоянно меняющегося и постоянно увеличивающегося. Каждый год в сельских округах выбирали какого-нибудь несчастного деревенского жителя, который выступал в роли сборщика тайля. Он один должен был решать, сколько стоит каждый из его соседей и сколько он должен вымогать у них, чтобы удовлетворить правительство, и если его усилия или расчеты не удавались, то за эту сумму отвечали его собственное имущество и личность. Возможности для злоупотреблений в такой системе, для удовлетворения личной ревности и обид, столь же очевидны, как и ее несправедливость по отношению к тем, на кого возлагалась эта обязанность. "Должность коллектора, - восклицал Тюрго, - доводит до отчаяния, а зачастую и до разорения всех, на кого она возложена". Чтобы избежать *Taille*, крестьянин старательно скрывал свои сбережения. Если, несмотря на правительство, он процветал, то не осмеливался сделать

ничего, чтобы придать уют своему дому. В одном случае мы видим, как он умоляет хозяина не покрывать крышу его коттеджа черепицей, потому что такой знак процветания означал бы для него увеличение налогов. Каждый человек стремился казаться отчаянно бедным. Затем, помимо Taille, крестьянин должен был платить дополнительные налоги, которые с течением времени были ассимилированы с ним; налог на опрос и вингтье, наложенные Людовиком XIV на всех одинаково, но тяжесть которых сильные классы ухитрились переложить на плечи слабых; дорожный налог, когда были отменены Корвеи; налог франка-фискала, когда ему случалось владеть землями, которые когда-то были дворянскими; и всегда, помимо требований Казначейства, пошлины сеньора и десятина пастора. Статистика иногда может вводить в заблуждение, но один искусный статистик подсчитал, опираясь на данные, которые трудно опровергнуть, что с учетом всех этих прямых расходов крестьянин во многих частях Франции отдавал четыре пятых своего дохода в казну, сеньору и церкви, а из каждой ста заработанных им франков оставлял себе чуть больше восемнадцати франков .[4]

Но на этом его беды не закончились. Габель, возможно, самый изнурительный налог, когда-либо придуманный пустой казной, обязывал всех граждан старше семи лет ежегодно покупать семь фунтов соли у государственных агентов. Но эта соль предназначалась только для приготовления и употребления пищи, а если требовалась соль для каких-либо других целей, агенты государства имели право заставить подданных покупать больше. Вся система косвенного налогообложения была задумана в том же духе, что и этот памятник фискальной глупости. Лицо страны было покрыто шлагбаумами и таможенными, занятыми армией чиновников, которые покупали у правительства право на сбор таможенных и акцизных сборов. Двенадцатьсот лье искусственных границ разделяли различные провинции Франции, мешали торговле и играли на понижение цен. Мелкие виноградары были почти разорены акцизом на вино, который даже в те времена отличался суровостью и инквизиторскими замашками тех, кто его взимал. В Калонне заявили, что только налог на соль ежегодно приводил к четырем тысячам приговоров, связанных с тюремным заключением, поркой, изгнанием и галеры. Под такой эгидой множилась контрабанда, и правительство отвечало на это суровыми наказаниями. В беспокойных районах организовывались отряды вооруженных бандитов, и годами вели партизанскую войну против войск короны. Безработные рабочие и разорившиеся крестьяне находили средства к существованию, пополняя ряды недовольных, а в отсутствие какой-либо администрации по борьбе с нищетой быстро росли нищенство и бродяжничество.

Записи последних лет Древнего режима, следовательно, полны свидетельств тревожного и растущего беспорядка. Горожане жаловались, что нищие, изгнанные из деревень, стекаются в города в поисках приюта. Интенданты докладывали Совету, что главные магистрали королевства кишат опасными бродягами. Напрасно правительство множило свои кукурузные законы и аресты и пыталось заглушить крики нищеты, подкармливая одних и наказывая других. В 1767 году было арестовано пятьдесят тысяч нищих, а в 1777 году число представителей этого несчастного сословия возросло почти до миллиона с четвертью. В Париже перепись 1791 года показала, что из шестисот пятидесяти тысяч населения более ста восемнадцати тысяч не имели средств к существованию. Легко понять, как, придавленные голодом и преследуемые строгим уголовным кодексом, многие из этих странствующих нищих перешли тонкую грань, отделяющую крайнюю нужду от преступления, и как, когда старая монархия внезапно рухнула и когда в поисках свободы закон был на мгновение потерян, Эта большая группа жалких существ, вооруженная кратковременной властью и долго копившейся ненавистью, жестоко отомстила за обиды, причиненные рабочему сообществу Франции, из рядов которого они и их предки были изгнаны политически и социально несправедливой системой.

Таковы были некоторые условия жизни во Франции в XVIII веке. Каждое сословие жило обособленно, укорененное в своих собственных ледящих душу традициях. "Никто, - кричал Тюрго, - не заботится ни о каких интересах, кроме своих собственных". Местный патриотизм, общение, дружеские чувства больше не объединяли людей разных сословий. Чувство гражданственности вообще угасло. Крестьянин стоял ниже других. Его бедность прилипла к нему, как одежда позора. Его общими побуждениями были нужда и страх. Любовь к легендам делала его суеверным. Невежество делало его доверчивым, фанатичным, подозрительным, легко склоняло к вере в зло. Изолированный от мира, сознающий свою принадлежность к низшей касте, сталкивающийся со всеми привилегиями своих хозяев, но не имеющий ни начальника, который заботился бы о нем, ни мудрого советчика, который направлял бы его, притупленный чувствами долгого терпения, кроткий, покорный, часто веселый, но чаще всего задумчивый над теми унижениями, которые он терпел, и возмущаясь несправедливостью еще больше, чем тяжестью своего положения, он услышал и с горячим восторгом принял новую доктрину человеческого владычества, провозгласившую равенство людей, независимо от их положения, независимо от их бедственного положения, и с этого момента достижение равенства, столь легко представимого, столь труднодостижимого, стало главным идеалом бедняков.

ССЫЛКИ:

- [1] Следует понимать, что в Pays d'État полномочия интендантов, касающиеся налогообложения и общественных работ, были ограничены и контролировались правами местных ассамблей.
 - [2] Расходы на королевский стол составляли около трехсот тысяч фунтов стерлингов в год.
 - [3] Все эти цифры я взял из книги М. Тейна "*Древний режим*" и приблизительно привел их к эквиваленту в английских деньгах нашего времени. Я, однако, во всех случаях рассчитывал *ливр* в 10 д., хотя Артур Янг ставит его на 10-1/2 д.; так что суммы в тексте, если и занижены, то незначительно.
 - [4] Одна часть *хвоста*, та, что ложилась на земледельца, доходила до привилегированных сословий косвенно, через их фермеров, но и в этом случае существовали определенные послабления в их пользу. Франк-фьеф - это налог в размере годового дохода, взимаемый каждые двадцать лет с недворянских владельцев дворянских земель. Расчет дохода, приведенный здесь, я взял из заметки по этому вопросу, содержащейся в приложении к книге М. Тейна "*Древний режим*", которая основана на *протоколах* провинциальных собраний. Исходя из дохода в 100 франков, он оценивает *хвост* (с его аксессуарами), налог на голосование и дорожный налог вместе в 42 фр. 15 к.; два *вингть* - 11 фр., десятину - 14 фр. 28 к., феодальные сборы - 14 фр. 28 к.; итого 81 фр. 71 с.
-

ГЛАВА II.

Последние годы Древнего режима.

Упадок старого общества сопровождался во Франции упадком идей, которые были неразрывно связаны с ним и которые, долгое время поддерживаемые авторитетными

санкциями, требовали, не всегда без насилия, почтения людей. Как государство узурпировало контроль над всеми сферами деятельности, так и римско-католическая церковь узурпировала контроль над всеми сферами мысли. Опираясь на авторитет и догмы, она диктовала и ограничивала знания своих подданных, направляла их интеллектуальные интересы и стремилась дать им не только религию, которая бы управляла их поведением, но и полную теорию, которая бы управляла их жизнью. Против этой монополии и концепций, на которых она основывалась, восстали лучшие умы восемнадцатого века, и их бунт был отмечен вспышкой активной и смелой мысли. Начавшись в таинственной области физической науки, с великих открытий в астрономии, химии, физике, геологии и математике, новый дух исследования распространился как пламя, освещая другие темы. Его приверженцы, отвергнув древнюю традицию и вековую привычку, с внезапным энтузиазмом обратились к наблюдению и анализу и шаг за шагом выстраивали для себя новые системы знаний, основанные не на том, чему их учили учителя, а на положительных фактах, которые они сами устанавливали и проверяли. Пробудившееся таким образом живое любопытство пробудило в них недоверие ко всем предвзятым мнениям, изгнало благоговейный трепет, сдерживавший предыдущие поколения, и разрушило старые барьеры веры.

Вскоре страсть к исследованию вышла за пределы физической науки и проникла в область теологии, экономики, политики и социальных законов. Во всех областях проявилась одинаковая склонность к отказу от прежних мнений, к новому исследованию, без каких-либо ограничений, принципов, лежащих в основе религии и правительства, общих законов, регулирующих человеческие институты, происхождения существующих представлений об обществе и собственности, о справедливости и праве. Традиция была свергнута, и разум занял свое место, как единственный критерий, с помощью которого можно определять мнения, не обращая внимания на подчиненное место, которое разум занимает в поведении людей. Классический дух с его законченностью, искусственностью и ограниченностью, уже господствовавший во Франции, наложил свою печать на новую философию и послужил средством ее распространения в мире. За время общения нескольких поколений французский язык приобрел исключительную тонкость и ясность выражения; он был прекрасно приспособлен для критики, анализа, аргументации, определения; таким образом, он сделал новые идеи одновременно популярными и ясными. Страсть к философским дискуссиям овладела образованным миром и увлекла его за факты, которые должны были заметить, к теориям, которые казались более далекими и, следовательно, более глубокими. Все начали рассуждать, обобщать, доискиваться до смысла многих вещей, текущее толкование которых они решили больше не принимать; в то время как необходимость, от которой страдают все французы, никогда не быть скучными, поощряла поверхностность в новых поисках истины и препятствовала тщательному изучению истории, которое только и могло избежать ошибок.

По мере того как раскрывались тайны Вселенной и люди узнавали, насколько ясны и просты законы физической природы, они решили, что должны существовать и другие законы природы, столь же ясные и простые, чтобы объяснить общество и политику; и обнаружив, что эта теория, к сожалению, противоречит путанице институтов и злоупотреблений вокруг них, они начали нападать на эти институты и злоупотребления с той смелостью, которую дает наука. Право и религия в их реальных формах были настолько коррумпированы, что потрясенное воображение этих мечтателей вернулось к идеалам естественной религии и естественного права. Далеко отстраненные от реальной политики, не обученные той мудрости многих голосов, которую дает свободная политическая дискуссия, недовольные своими собственными политическими обычаями, но не желающие тщательно изучать политические обычаи других и происхождение всего, они приступили к формулированию с

помощью чистого разума теорий, которые удовлетворили бы их вновь пробудившиеся эмоции и вписались бы в какую-то, казалось бы, более простую и научную формулу жизни. Все те, для кого политика на практике была запечатанной книгой, нашли убежище в этой политике воображения, и политический мир во Франции оказался разделенным на два лагеря, один из которых состоял из тех, кто управлял, а другой - из тех, кто рассуждал, причем последние постоянно устанавливали принципы, которые первые постоянно нарушали. Общество, посвященное письмам и беседам, охватывало и распространяло спекулятивную литературу эпохи, и таким образом великие литераторы XVIII века стали во Франции тем, чем политики иногда стремятся быть в более счастливых странах, - источниками политического вдохновения и настоящими лидерами общественной мысли.

Среди пионеров новых доктрин в каждой половине века заметно выделяются два человека: Монтескье и Вольтер в первой половине, Дидро и Руссо во второй. Монтескье, самый ранний из философов, был блестящим и выдающимся юристом, хорошо знавшим историю, серьезным, острым, глубоко изучившим человеческие институты, и мастером краткого и острого стиля. Его труды, как правило, были не просто полетом извращенной фантазии, а результатом систематизированных и тщательных размышлений, весомых, ярких, умеренных по тону и научно обоснованных. Именно Монтескье в своих *"Персидских письмах"* положил начало философскому движению и разоблачил батареи критики и сатиры, которые на протяжении двух поколений должны были так эффективно играть на фундаменте старой монархии во Франции. Именно Монтескье двадцатью семью годами позже, когда он создал великий труд своей жизни, *Esprit des Lois*, с ясной и широкой проницательностью проанализировал законы, регулирующие человеческие правительства и обычаи, и тем самым разрушил таинственный престиж, который до тех пор никогда не был снят с древних институтов Франции. Именно Монтескье впервые подверг эти институты безжалостному анализу, которого они не выдержали. Но медленный и осторожный метод, который отличал Монтескье, был менее популярен среди его преемников. Он был связан со слишком большими трудностями. Кроме того, в руках мастера он рисковал стать скучным. Классический дух, французский темперамент, любовь к развлечениям в совокупности направили критику в более легкое русло, и философское движение, не покидая полностью атмосферу изучения фактов, приняло более подходящее облачение в изысканной насмешке Вольтера.

Жизнь Вольтера растянулась далеко за середину века, и его последние годы были годами его величайших триумфов. Но он все же принадлежит скорее к поколению Монтескье, чем к поколению Руссо. При нем изменился тон нового движения. Оно стало более легким и смелым. Его сдержанность исчезла. Его неустрашимость возросла. Оно вошло все поля. Оно осветило все темы. В стихах, в прозе, в истории, в драме, в романе Вольтер нападал на традиции, верования, злоупотребления, безжалостно разоблачая их недостатки и подмены, громко смеясь над их нелепостями, отрицая претензии, которыми они кичились, обличая беззакония, к которым они вели. Редкое и многогранное остроумие Вольтера, его легкие штрихи, его неприкрытый скептицизм, его блестящий здравый смысл неотразимо действовали на умы его соотечественников. Он сделал философское движение популярным. Он отождествлял его со многими ошибками и самыми серьезными недостатками вкуса. Но вместе с этим он научил людей презирать многие глупости и обличать многие несправедливости.

Именно Вольтер придал литературному движению тот решительный тон иррелигиозности, который оно так долго сохраняло. Церковь стояла на пути противников, с которыми приходилось сталкиваться философам, и нападать на Церковь, ее практику и вероучение

было для Вольтера интеллектуальным наслаждением. Как никакой другой институт, церковь во Франции олицетворяла дух традиции, авторитета, подчинения формулам, благоговения перед прошлым. Как таковая, она должна была с тревогой воспринимать новый дух независимых исследований. Из всех форм политической власти политическая власть церкви была самой непопулярной. Она вмешалась, чтобы поддержать таинственными санкциями гражданские институты, которые многие считали несправедливыми. Как цензор прессы, она представляла правительство в той самой точке, где правительство и философы вступали в конфликт. Из всех сторонников старого порядка она во многих отношениях была наиболее открыта для нападок. Поэтому философское движение с самого начала обрушило свои силы на церковь, и Вольтер возглавил этот натиск с непочтительной живостью своей натуры и богатым великолепием своих информационных и литературных ресурсов.

Однако в середине восемнадцатого века руководство философским движением перешло в руки более молодых. В 1751 году первый том знаменитой "Энциклопедии" сконцентрировал внимание общественности на группе писателей, не отличавшихся общностью взглядов и понимания, вдохновленных новым духом и стремившихся перенести его во все сферы экономической, политической и социальной деятельности. Среди энциклопедистов было много выдающихся людей. В списке их авторов мы находим имена Турго, Руссо, Бюффона, Мармонтеля. Д'Алембер, опытный математик, привнес в работу свои способности, восхитительный стиль и мудрость, приобретенную студентом в течение жизни, проведенной в бережливости и независимости. Но величайшим из сотрудников, самым оригинальным в гении, самым безрассудным в выражении, самым интенсивным и образным в мыслях, был блестящий, порочный, стремительный Дидро с его необыкновенным, магнетическим разговором, его неукротимым упорством, его искренним сознанием собственных недостатков, его горячим желанием улучшить человечество. Примечательно, что почти все видные представители энциклопедической партии были воспитанниками иезуитов, и, несомненно, как партия, они ассоциировали себя с явным нападением на главные догматы католической церкви. Но трудно и не очень выгодно пытаться присвоить определенные имена злословия разновидностям неверия в их рядах, и было бы грубой ошибкой считать этот аспект их трудов наиболее характерным или важным. Сила и успех этого предприятия заключались в том, что оно вышло далеко за пределы бесплодных конфликтов теологии и привнесло новые идеи, новую привычку к поиску и анализу, новое бесстрашие социальных комментариев и новое гуманитарное рвение в исследование политических и экономических явлений, чтобы подготовить путь для практических реформ. Слава энциклопедистов заключается не в их презрении к святым вещам, а в их ненависти к несправедливым, в их осуждении торговли рабами, неравенства налогообложения, коррупции правосудия, расточительности войн, в их мечтах о социальном прогрессе, в их сочувствии к поднимающейся империи промышленности, которая начинала преобразовывать мир.

Потомство больше знакомо с недостатками, чем с достоинствами этого странного эпизода в человеческой мысли. Его идеалы были обезображены многими недостатками - нереальностью, политическим невежеством, опасной свободой, жестокими крайностями. Стремясь избежать условностей, он ослабил необходимые кодексы. Она сделала нечестивость упрямой. Она поспешно приняла веру в совершенство человека, чтобы заполнить нишу, в которой когда-то покоилась вера в совершенство Бога. Вместо традиций и систем, которые она искоренила, она научила своих последователей обращаться за руководством к собственным инстинктам и смутным стремлениям к воображаемым системам естественного права. Оно посеяло во французском народе неистребимое желание отменить все, что напоминало о прошлом, как бы сильно он ни страдал при этом. Его учение, казалось, подавляло порывы к добродетели и не давало удовлетворения духовным потребностям

человека. Знаменитый трактат Гельвеция *De l'Esprit* излагал среди множества поверхностных банальностей удручающую доктрину о том, что корысть диктует поведение и взгляды людей и что достижение удовольствий является их единственной конечной целью. Не менее знаменитая "*Система природы*" Гольбаха стала кульминацией столетия философских волнений, страстно обличая пороки королей и рабство людей, прямо требуя революции, безжалостно отвергая любую форму веры, настаивая на атеизме и материализме как единственно верной философии жизни. "Религиозные и политические ошибки, - воскликнул Хольбах, - превратили вселенную в долину слез".

Рядом с авторами "Энциклопедии", а иногда и среди них, находились люди разных школ мысли, выступавшие вместе с ними за перемены. Кеснай и Турго занимали видное место в рядах выдающейся секты, которую одни называли экономистами, другие - физиократами. Экономисты разделяли с Дидро и его коллегами рвение к реформам, презрение к прошлому, демократические настроения времени. Они были готовы добиваться равенства даже ценой деспотизма. Они настаивали на подчинении всех частных прав общественным интересам. Они проповедовали необходимость национального образования как первого условия процветания страны и призывали возложить бремя налогов на землю, которую они считали единственным источником богатства. Они выступали за свободную торговлю, свободное сельское хозяйство, свободную промышленность, но при этом мало заботились о самой свободе. Другие, например Морелли, автор "*Кодекса природы*", приняли экономистскую теорию всемогущества государства, но добавили к ней свои собственные теории. Морелли предлагал установить общность благ и единообразие всех условий. Он осудил институт частной собственности, и в его ранней форме прозвучали многие из тех предложений по переустройству мира, которые впоследствии получили название социализма и приобрели размеры призрака в умах, нетерпимых к переменам.

Но гораздо выше других голосов возвышались возвышенные тона и звучная риторика Руссо. Руссо презирал изучение и анализ прошлого, в котором Монтескье искал кропотливую мудрость. Ему не было дела до распространения знаний и искусства, ярким представителем которых был Вольтер. Он с трудом понимал широкие, амбициозные проекты, с помощью которых Дидро и Турго надеялись принести пользу человечеству. Его возмущали утилитарные теории Гельвеция. Он горячо отрицал материальную философию школы Гольбаха. Гневное недовольство Руссо жизнью, учеба, знания, культивирование казались ему лишь ступеньками на пути к деградации человека. Для его воспаленного зрения все общество было искусственным, все принятые формы политической организации - тиранией и злоупотреблением. Человек, протестовал он, был от природы добрым, справедливым и любящим, созданным справедливым и любящим Богом, пока искусство, бич жизни, не вторглось в его простоту, не запятнало его добродетель и не поставило его лицом к лицу со страданием и грехом. Сметите, - увещевал он своих слушателей, - всю ложную ткань общества, мир уродливой нужды и наглого богатства, называемый цивилизацией, угнетение, называемое порядком, заблуждение, называемое знанием! Сгладьте его неравенство, отрекитесь от его образованности, разружьте его условности, разбейте его цепи! Пусть люди вернутся к простоте древних дней, к тому идиллическому состоянию, когда ими управлял один лишь неиспорченный инстинкт, и там снова, невинные и невежественные, какими их создала природа, и ведомые лишь "бессмертным и небесным голосом" разума, устремятся по высоким путям к счастью жизни.

В поколении, полном привилегий и лишений и уставшем от собственных искусственных устоев, такое учение произвело фурор. И неважно, что учитель примирял довольно гнусную практику с великолепной теорией, а сам был слишком часто болезненным, эгоистичным,

нелюдимым, подлым. Ученики, упивавшиеся его доктринами, не задавались критическим вопросом о его мотивах. Они не спрашивали - и, возможно, мы не имеем права рассуждать, - критиковал ли он общество, потому что не смог блистать в нем, или же он выступал против богатства, потому что ему не хватало терпения заработать его самому. Они не знали и не заботились о том, продиктованы ли его ссоры с миром, его обвинения в его устоях и законах, его красноречивая защита человеческого инстинкта и его чувственная любовь к природе лихорадочным желанием, которое владеет человеком, чтобы следовать каждому импульсу своего разума и не подчинять свои порывы никакому контролю. Они не видели, что пример мастера, который, какие бы постыдные проступки он ни совершал, все равно мог утверждать, что цивилизация, а не он сам, заслуживает порицания, и все равно мог серьезно описывать себя друзьям как одного из лучших людей, которых он когда-либо знал, был слишком хорошо рассчитан на то, чтобы позволить его ученикам убедить себя в том, что они являются инструментами добродетели, чистоты и справедливости, в то время как они допускали беззаконие и смягчали преступление. Они знали, что его обличение угнетения совпадает с горькими уроками, которые преподавал им их опыт. Они находили, что его красноречивые слова возрождают их самоуважение и поднимают их идеал человеческого достоинства. Они чувствовали, что он отстаивал интересы несчастных в тонах и с гением, которые заставляли счастливых присутствовать при этом, и что он привнес в это возвышенное служение самое широкое сострадание, самое искреннее сочувствие и самый величественный язык, который только слышал восемнадцатый век.

В 1762 году Руссо опубликовал одну из самых известных и, по своим последствиям, вероятно, одну из самых важных книг, когда-либо написанных. "Человек рожден свободным, - гласил пролог к *Contrat Social*, - человек рожден свободным, а повсюду находится в цепях". В "*Социальном договоре*" Руссо полностью отверг исторический метод - этот мудрый процесс политической философии, который терпеливо изучает обстоятельства прошлого, чтобы на основе полученного опыта изменить и улучшить настоящее. Опираясь на небезопасные методы абстрактного, *априорного* умозрения, он принялся разрабатывать из своего пылкого и богатого воображением мозга идеальную теорию общества, которая должна была логическими и убедительными аргументами подтвердить те мнения, которые он уже отстаивал. Результатом этого предприятия стала знаменитая доктрина суверенитета народов. Происхождение каждого человеческого общества, утверждал Руссо, таково: "В какую-то отдаленную эпоху на заре времен люди, жившие в естественном состоянии, добродетельные, разумные, равные и свободные, решили вступить в ассоциацию для защиты личности и имущества всех, пока каждый индивид в ней остается свободным. В соответствии с этим они заключили Общественный договор, по которому каждый человек подчинялся общей воле и принимался как неотъемлемая часть целого. Органом, образованным этим общественным договором, был государь. Все граждане, принадлежавшие к нему - а принадлежали все - имели равную долю в общем суверенитете и были связаны друг с другом братскими узами. Суверенитет заключался в исполнении общей воли, и этот суверенитет не мог быть отчужден ни одному лицу или группе лиц, ни разделен на части и распределен между различными должностными лицами. Воля суверенного органа выражается в законах, и каждый его член должен лично, а не путем делегирования, принимать участие в создании этих законов. Если он делегировал это право представителям, то отказывался от своей доли суверенной власти. Для удобства суверенный орган может делегировать правительствам определенные исполнительные полномочия на ограниченное время; но суверенный орган все равно сохраняет за собой право возобновить или изменить эти полномочия по своему усмотрению и должен время от времени собираться, чтобы

осуществить свое право. Когда весь суверенный народ собирался, власть правительств прекращалась, а вся исполнительная власть приостанавливалась. Если какое-либо правительство узурпирует суверенитет, *Общественный договор* тем самым нарушается; все граждане вновь обретают свободу действий и могут подняться на восстание, чтобы отстоять ее. Наконец, в области религии суверенный орган имел право навязывать гражданское исповедание веры и заставлять всех своих граждан под страхом изгнания и смерти верить в существование благодетельного Бога, в бессмертную жизнь, в воздаяние справедливым и наказание злым, в обязательность *Общественного договора* и законов.

В наши дни легко критиковать *Общественный договор*. Ошибочная идея договора как основы общества; отказ от представительных законодательных органов и настаивание на принципе, который может быть применим только в миниатюрном государстве - личное участие каждого гражданина в принятии законов; санкция на право восстания, когда воображаемый договор нарушается; отсутствие какого-либо метода установления того, нарушен договор или нет; - вот недостатки в его аргументации, которые легко обнаружить. Легко также указать на некоторые особенности, которые уродуют ее всю: пренебрежение фактами, софистика и непоследовательность, узкая нетерпимость сентиментальной теологии, отстраненность от практики, опора на догмы и логику слов. Но не так-то легко оценить то необычайное впечатление, которое в те дни произвела эта книга, и тот энтузиазм, который вызывали у всех, кто стремился к свободе, бесстрашный блеск ее фраз, сплав аргументов и страсти ее стиля, ее щедрый демократический нрав, духовная серьезность, вдохновлявшая ее, ее прекрасное возвеличивание патриотизма и свободы. *Contrat Social* послужил текстом и зажег огонь революции. Он стал евангелием партии якобинцев, а Робеспьер - ее первосвященником.

Семена, посеянные этими выдающимися писателями, упали на плодотворную почву. Годы, непосредственно предшествовавшие началу революции во Франции, были годами смутного, но широко распространенного возбуждения. Энтузиазм по поводу природного величия человека и безграничное презрение к эпохе и обществу, в котором он жил, пронизывали мысли того времени. Почти в каждой европейской стране наблюдатели отмечали одно и то же предчувствие надвигающихся перемен, причем перемен, которые в интересах человечества готово было приветствовать большинство людей. И мыслители, и собеседники были полны иллюзий, полны любопытства, полны бескорыстия, полны надежды. За пределами Франции, как и внутри нее, все погрузилось в философские дебаты. В торговых городах Германии купцы и промышленники собирались после рабочего дня, чтобы обсудить состояние человеческой расы. Такие государи, как Фридрих, Екатерина и Иосиф, противостояли безопасному радикализму деспотов. В Испании, в Португалии, в Тоскане, а также в Англии и Франции государственные деятели вторили новым гуманитарным максимам. Аранда, Помбаль и Манфредини демонстрировали дух и подражали реформам Турго и Неккера, Фокса и Питта. Начало Американской революции вызвало глубочайший интерес в Европе. Добровольцы из Франции хлынули в Америку, чтобы сражаться за политические идеалы, о которых они так долго мечтали и осуществление которых в Новом Свете, казалось, принесло убежденность в Старом. Весть о триумфе американских колонистов была с восторгом встречена на дорогах Эльсинора. Как ни странно, лихорадочные волнения того времени привели к тому, что в эпоху, которая исповедовала войну с суевериями, возродился мистицизм более раннего времени. Накануне Французской революции лучшие образованные слои населения Европы были поглощены тайными обществами и братствами, такими как иллюминаты, сведенборгианцы, месмеристы, розикруцианцы, со всех сторон окунались в некромантию и оккультные науки и часто

становились жертвами нелепых самозванцев, которые, подхватив нравы времени, предлагали с помощью шарлатанства возродить мир.

Это смутное возмущение духа не проникало, правда, в самые низшие и неграмотные слои населения. Но во всех высших слоях общества оно было заметно. Годы правления Людовика XVI были во Франции, как и почти во всей Европе, годами национальной экспансии. Торговля страны развивалась семимильными шагами, и коммерция Бордо уже превышала, по трезвому мнению Артура Янга, торговлю любого английского порта, кроме Лондона. В то же время богатство средних слоев населения росло с такой же быстротой. Год за годом они ссужали правительству все больше денег; и год за годом, видя, как правительство расточает их с безрассудной расточительностью и все глубже погружается в долги, они все решительнее вставали в ряды оппозиции и все явственнее выражали свое недовольство. Грубая бесхозяйственность в управлении финансами стала вопросом, в который, по их мнению, они имели право вмешаться. Участие в политической игре сделало их политиками, и не только это - оно сделало их еще и реформаторами. Таким образом, растущее богатство страны косвенно приводило к умножению врагов двора и перетягивало на сторону революции тот важный финансовый интерес, который обычно является стабильным, а иногда и мешающим элементом в государстве.

В других отношениях к концу века средние классы по своему образу жизни, по своему образованию, по своей просвещенности стали равными дворянам. Они прониклись той же философией, у них были те же вкусы, они с тем же возвышенным невежеством в истории и политике созерцали филантропические идеи эпохи и еще более горько, чем прежде, возмущались исключительными и требовательными привилегиями каст. В то же время дворяне, со своей стороны, теряли под благотворным влиянием философии большую часть апатичной беспечности, которая делала их привилегии ненавистными. Двор Людовика XVI сильно отличался от двора его предшественников. Он был менее помпезным, менее искусственным. Правила этикета были смягчены. В обществе преобладали лучшие тона. Самые спесивые вельможи свободно открывали свои двери для низкородившихся гениев. Они обсуждали республиканские теории в своих гостиных. Они аплодировали республиканским настроениям в театрах. Они начали смутно осознавать свои общественные обязанности и неуверенно выполнять их. Они просыпались, видя бедственное положение окружающих их бедняков, и старались облегчить его щедрой рукой. Некоторые дворяне предлагали отказаться от налогового иммунитета. Другие, во главе с королем, освободили крепостных, которые еще оставались в их поместьях. Маркиз де Мирабо учредил безвозмездную канцелярию для разрешения судебных исков. Герцогиня де Бурбон вставала рано утром, чтобы посетить с милостыней чертоги бедняков. Королева устроила в Трианоне деревню, где, облачившись в муслиновое платье и соломенную шляпу, она могла ловить рыбу в озере и смотреть, как доят ее коров. Король умножил свои частные благотворительные учреждения, а однажды суровой зимой повелел кормить всех приходящих бедняков ежедневно на королевских кухнях. Со всех сторон, среди высших слоев общества, проявлялись те же симптомы. Экстравагантная, но добросердечная чувствительность стала главной движущей силой их действий; реформы были их страстью, безграничная, лучезарная надежда - их кредо. "Без сожаления о прошлом, - говорит один из них, оглядываясь от безмятежного созерцания последующих лет на то чарующее утро своей жизни, - без сожаления о прошлом и без опасений за будущее, мы весело танцевали по ковру из цветов, расстеленному над пропастью".

Тот же дух одушевлял правительство того времени. Несмотря на недостаток сил, прискорбную нерешительность и благонамеренную вялость ума, Людовик XVI обладал

немногими качествами, которые присущи хорошим королям: высокими нормами морали и долга, большим запасом спокойной простоты и мужества, готовностью прислушиваться советам мудрейших людей, заметной чувствительностью к общественному мнению и искренним желанием служить своему народу. Людовик недолго пробыл на троне, прежде чем доказал свои благожелательные намерения, назначив на пост генерального контролера величайшего практического реформатора современности. При Тюрго новый дух быстро проник во все ведомства. Экстравагантность двора была сокращена. Полезные изменения были внесены в систему ведения хозяйства и сбора налогов. Корвеи были превращены в регулярный налог, от которого не освобождались привилегированные классы. Гильдии, которые монополизировали и сковывали торговлю, были подавлены. Сельское хозяйство и торговля получили новое поощрение. В пределах королевства была установлена свободная торговля кукурузой. Министр говорил о смягчении феодальных повинностей и мечтал об отмене неравенства в налогообложении. В администрации воцарился дух мягкости и внимания. Правительство не только проводило реформы, но и снисходило до того, чтобы рекомендовать их обществу, указывать на их необходимость, объяснять их намерения. "Бремя этой обязанности, - гласил королевский эдикт, отменявший корвеи, - ложится исключительно на тех, кто не обладает ничем, кроме права на труд". Право на труд, - гласила преамбула эдикта, подавлявшего гильдии, - является самым священным из всех владений, и каждое учреждение, посягающее на него, нарушает естественные права человека".

Так же и Неккер, сменив Тюрго, обратился за поддержкой к общественному мнению. Он признавал "невидимую силу, которая требует повиновения даже во дворце короля", и пытался оправдать свою политику, публикуя отчет о состоянии финансов. И хотя Тюрго и Неккер пали, а их планы погибли вместе с ними, реформаторский дух продолжал влиять на правительство на протяжении всего правления Людовика. Перемены за переменами, эксперимент за экспериментом свидетельствовали о готовности короны прогнуться перед силами времени. Меры, принятые сначала для подавления, а затем частично для восстановления гильдий, разрушили старые отношения между работодателями и рабочими, но мало что сделали для создания на их месте более полной или удовлетворительной системы. Таким образом, когда наступила Революция, среди ремесленников больших городов царилло чувство неуверенности и недовольства, что делало дисциплину невозможной, а злоупотребления - легкими.

Опять же, всего за год до Революции один королевский указ изменил отправление правосудия во Франции; а годом ранее, в 1787 году, другая смелая и запоминающаяся мера завершила реформу, начатую в качестве эксперимента за несколько лет до этого, и учредила провинциальные собрания во всех Pays d'Élection. Важность этого шага, который иногда упускают из виду среди более серьезных изменений более позднего времени, трудно переоценить; ведь он ввел, почти без предупреждения, новый принцип в управление страной. На стороне самодержавных интендантов были созданы новые провинциальные собрания, которые лишили интендантов большинства их полномочий, а если те сопротивлялись, то вступили с ними в активную конкуренцию. На стороне самодержавных субделегатов формировались новые окружные собрания, которые проводили аналогичный курс действий в более узкой сфере. На месте древних приходских собраний, посреди неравенства и привилегий, которые были привычной сценой французских деревень и которые сами по себе оставались неизменными, возникли новые, выборные, муниципальные органы, чтобы утвердить демократические методы в условиях, совершенно непримиримых с демократическими идеями. Если принять во внимание масштаб этих важных изменений, их

новизну, непоследовательность и внезапность, с которой они были проведены, то становится понятным, какое замешательство и паралич должны были вызвать они в государственной службе, и можно понять, почему представители правительства оказались столь бессильными, несмотря на свой престиж, когда им пришлось столкнуться с кризисом 1789 года. Накануне революции Людовик и его советники, забыв о спасительной максиме, что самый опасный момент для плохого правительства - это момент, когда оно вмешивается в реформы, намеренно разрушили старую, деспотическую, административную систему, которая в конце восемнадцатого века была единственной надежной опорой трона.

Нет необходимости останавливаться на эпизодах правления Людовика. Тюрго и Неккер пали поочередно; но Неккер унес с собой репутацию финансиста, бескорыстного и честного либерала, которая снискала ему славу, несоизмеримую с его способностями. Он оставил после себя проблему постоянно растущей сложности и дефицита, тревожно увеличенный вмешательством Франции в американскую войну. На некоторое время после свержения Неккера реакционные влияния взяли верх. Расточительность казначейства продолжалась. Призрак реформы на время забрезжил. И во главе этого великолепного и легкомысленного двора, сочетавшего в себе пышные традиции Великого Монарха и модную в то время филантропию, возмущавшегося всякой экономией как подлой, а радикальными нововведениями - как дурно воспитанными, стояла, блистая красотой и блеском, фигура королевы. Своенравная и гордая, безрассудная и экстравагантная, нетерпимая к неприятным фактам, потому что совершенно не знала их истинности, уже широко оклеветанная и неверно оцененная, но обреченная столкнуться с гораздо худшими клеветами, которые под маской истории повторяются с тех пор, Мария-Антуанетта никогда не переставала вызывать интерес и внимание потомков, как и ее трагическая история и падение, к которому отчасти привели ее ошибки, никогда не переставали вызывать жалость и уважение. В 1783 году Калонн занял пост генерального контролера, и в течение четырех лет, поощряемый благосклонностью королевы и двора, а также благодаря собственной удивительной ловкости и находчивости, Калонн сохранял свое место. Деньги находили с огромными затратами, чтобы удовлетворить нужды правительства и алчные притязания придворных. С каждым днем банкротство становилось все более очевидным. Наконец, Калонн, не в силах больше продолжать свою систему, прибег к отчаянному средству. Он созвал в феврале 1787 года чрезвычайное собрание нотаблей, состоявшее из дворян, епископов, магистратов и чиновников, откровенно изложил им положение дел и с радостью сообщил, что за последние десять лет правительство взяло в долг не менее пятидесяти миллионов стерлингов.

Любопытно отметить отношение этого собрания и то, как его действия были восприняты в стране. Как и следовало ожидать, нотабли, почти полностью состоявшие из представителей привилегированных орденов, не были готовы пойти на большие личные жертвы ради спасения государства. Когда Калонн дерзко предложил им отменить привилегии и льготы и потребовал ввести тяжелый налог, он пал, получив бурю упреков со стороны придворных, которые считали его дезертиром из своих рядов. Но вместо того, чтобы унести с собой симпатии народа, Калонн обнаружил, что его противники, хотя и сопротивлялись реформам, узурпировали популярность реформаторов. Нотабли ловко перенесли нападки на поведение правительства. Они потребовали публичных счетов. Они осуждали действия администрации. И только потому, что они нападали на правительство, осмеливались критиковать и выступать против короны, они вдруг, к собственному удивлению, превратились в народных героев, а их поведению и мужеству рукоплескали по всему королевству. То же самое произошло после падения Калонны. Ломени де Бриенн, архиепископ Тулузы, сменил Калонна на посту и оказался вынужден принять многие из его

планов. Тогда Парижский парламент выступил вперед и, следуя примеру нотаблей, принял некоторые реформы министра, в частности эдикт о создании провинциальных ассамблей, но отверг новые налоги, которые были неотъемлемой частью правительственной схемы. Король напрасно угрожал и наказывал членов Парламента. Парламент, заимствуя язык времени и забывая, что сами являются лишь привилегированной и исключительной корпорацией, выдавал себя за представителей нации и требовал созыва Генеральных штатов для выражения национальной воли.

Правительство попыталось провести свои замыслы в жизнь с помощью высокой руки. По всему королевству местные Парламенты, судебная магистратура Франции, подхватили дело изгнанного Парижского Парламента, вторили его тонам и даже угрожали опасным восстанием. В Дофине, в частности, духовенство, дворяне и коммуны провинции, собравшись в Визиле и возглавляемые мужественным красноречием Мунье, протестовали против политики министра и бросали вызов короне. Народ, мало заботясь о правах или неправых ссоры, но радуясь тому, что всемогущее правительство было посрамлено и атаковано, приветствовал Парламенты как национальных освободителей и провозгласил их поборниками народной свободы. На мгновение открылось странное зрелище: привилегированные ордена Франции защищали свои привилегии при восторженной поддержке нации против правительства, которое хотело уничтожить их в интересах всех. Перед лицом этого необычного союза правительство отшатнулось. Встревоженный ростом беспорядков и волнений, высокими ценами на продовольствие, недовольством в армии, полной потерей кредита министерством и перспективой банкротства в ближайшем будущем, король решил посоветоваться с нацией. Он объявил, что Генеральные штаты, древний представительный парламент Франции, вновь, по прошествии ста лет и трех кварталов, соберутся для обсуждения судеб королевства. Затем популярность привилегированных органов угасла так же внезапно, как и началась. В августе 1788 года Неккер был отозван на пост, и всеобщее ликование ознаменовало удивительную капитуляцию короны.

Мудрый министр постарался бы быстрыми и решительными действиями унять смутное волнение того времени. С каждым днем в стране распространялось чувство беспокойства. Париж превратился в большой дискуссионный клуб. Напряжение в общественном сознании было уже крайним. Однако вместо того, чтобы поторопиться с выборами, вместо того, чтобы продемонстрировать решимость встретить кризис просвещенно и спокойно, правительство колебалось, медлило, колебалось и дало всему миру понять, что оно не выработало никакой политики и едва ли знает, каковы его намерения. Встреча Генеральных штатов была отложена до следующей весны, а тем временем правительство стимулировало лихорадку мнений. Всю зиму 1788-9 годов Франция была наводнена политическими обращениями и демократическими памфлетами, среди которых всеобщее внимание вызвал дерзкий памфлет аббата Съеса, призванный как можно выше поднять надежды и гордость Тирского государства. В дополнение к словесной войне правительство предложило всем классам составлять *Cahiers* или петиции о недовольстве, которые должны были быть представлены Генеральным штатам на их заседаниях, и таким образом, свои собственные действия, оно привлекло внимание своих подданных к многочисленным злоупотреблениям, которые так долго молча переносились.

Более того, когда встал важный вопрос о конституции новых Генеральных штатов, правительство не смогло определиться. В избирательных механизмах, как и следовало ожидать из-за бесчисленных местных и личных прав, все еще существующих в стране, было очень много сложностей и путаницы. Но общий принцип, во всяком случае, в *Pays d'Élection*, был таков. Дворяне и духовенство каждого байяжа, как правило, избирали своих

представителей напрямую, хотя это правило допускало множество исключений. При выборах же депутатов Коммуны голосование ни в коем случае не было прямым, а имело две, а то и три или четыре степени. Все французы старше двадцати пяти лет, которые платили даже самую незначительную сумму прямых налогов, имели право голоса. Они могли голосовать за любых представителей по своему усмотрению, поскольку имущественный ценз для кандидатов отсутствовал. Но они не могли голосовать за них напрямую. Таким образом, избирательное собрание каждого байяджа состояло из дворян и духовенства байяджа, а также нескольких представителей коммун, которые были предварительно избраны первичными собраниями избирателей в различных городах и деревнях байяджа. После того как избирательное собрание байяжа было сформировано, дворяне, духовенство и выборщики Тирса, составлявшие его, разделились на три отдельных органа[5], и каждый орден выбрал определенное число депутатов, чтобы представлять его в Генеральных штатах в Версале. Число депутатов, предоставляемых каждому байяжу, варьировалось в зависимости от обстоятельств, но в основном определялось его населением и богатством.

Без возражений было решено, что дворяне и духовенство в Генеральных штатах должны иметь, согласно обычаю, по триста представителей; но тут возник сложный вопрос, сколько депутатов должен избирать Тирс-Этат. Сторонники демократии под восторженные аплодисменты публики утверждали, что коммуны бесконечно превосходят по численности два других ордена и поэтому должны иметь по меньшей мере вдвое больше представителей. По этому вопросу Людовик и Неккер колебались, осаждаемые натиском демократического чувства, которое они выпустили на свободу во Франции. Напрасно Неккер в ноябре 1788 года собрал еще одно собрание нотаблей и попытался переложить на них свою ответственность. Наконец правительство решилось на уступку и объявило, что коммуны будут иметь "двойное представительство" - шестьсот представителей в новом парламенте. Но гений нерешительности все еще преследовал его. Даже тогда он не мог решить, должны ли три ордена заседать и голосовать в отдельных палатах, или же все они должны заседать в одной палате и голосовать вместе. Самый робкий интеллект должен был понять, что если три ордена не будут голосовать в одном органе, то численное превосходство, которое получили общинники, не будет иметь никакого значения, а уступка правительства народным чувствам окажется всего лишь заблуждением. И все же этот важный вопрос до последнего оставался нерешенным короной, как плодотворный источник ссор, из которых могли бы начаться смуты революции. Итак, с правительством, озадаченным опасениями, с местной администрацией, парализованной множеством недавних перемен, с признаками беспорядка, множасьими со всех сторон, с бесчисленными трудностями, требующими разрешения, и с неподвижным духом старых традиций, тщетно пытающимся усвоить новые, Монархия готовилась встретить представителей нации, которые, уже раскрасневшиеся от триумфа, опьяненные уверенностью и надеждой, шли вперед, чтобы осуществить свое долгожданное тысячелетие и с помощью свободы и философии перестроить судьбы Франции.

ССЫЛКИ:

[5] Только в трех случаях, в Лангре, Перонне и Монфор-л'Амори, три ордена заседали и голосовали вместе в избирательном собрании.

Первые дни революции.

5 мая 1789 года Людовик открыл Генеральные штаты в Версале. С самого начала правительство выдало свою беспомощность и полную неспособность оценить ситуацию. Депутаты общин в большинстве своем приехали в Версаль с самыми смелыми ожиданиями. Они были полностью осведомлены о существующих проблемах. Они были полны планов и идеалов реформ. Они не предвидели и готовы были предвидеть никаких препятствий. Они были готовы преобразовать страну и с уверенностью ожидали, что под руководством благосклонного короля и либерального и опытного министра без промедления приступят к работе по возрождению страны. Но с самого начала они столкнулись с рядом препятствий и разочарований, которые с течением времени становились все более серьезными. Они обнаружили, что правительство, вместо того чтобы энергично взяться за дело, не предложило им никаких конкретных реформ, а помимо желания восстановить финансы, выдвинуло лишь туманные филантропические намерения. Они обнаружили, что король и его советники даже не определились с конституцией нового парламента и не могут решить, должны ли три ордена заседать и голосовать вместе или раздельно. Они оказались в новой для большинства из них атмосфере, им предстояла новая для всех работа, они сознавали, что началась новая эра и что они должны заявить о себе, чтобы ознаменовать ее, но при этом привыкли с незапамятных времен считать дворян своими начальниками, короля - своим господином, а правительство - непреодолимой силой.

Поэтому поначалу позиция общин была крайне неловкой. У них еще не было своих признанных лидеров, а министры, от которых они ждали руководства, молчали и, казалось, были в таком же недоумении, как и они сами. Лишь в одном вопросе они были настроены решительно и не собирались поддаваться никакому давлению. Они настаивали на том, чтобы депутаты от дворянства и духовенства присоединились к ним и составили с ними одну палату. Со своей стороны, дворяне и духовенство отказались выслушать это нововведение. Общины упорно отвергали компромисс, и на этом возник тупик. Вместо того чтобы Генеральные штаты приступили к работе по исправлению финансов и проведению реформ, прошло шесть недель, занятые только этой предварительной ссорой, в то время как все это время волнения в Париже и в стране углублялись, конфликт классовых интересов становился все более очевидным и острым, а реакционные придворные радовались фиаско и использовали свое влияние, чтобы расширить брешь. Общины, чувствуя свою силу и осознавая мощь стоящих за ними сил, держали свои позиции, не обращая внимания на давление и бесчисленные мелкие социальные оскорбления, которым они ежедневно подвергались в Версале, и все решительнее проводили политику самоутверждения; а правительство как никогда ярко продемонстрировало и Генеральным штатам, и общественности свою полную бесцельность и решительность.

Наконец, после шести недель ожидания, общины взяли дело в свои руки, и с этого момента события развивались стремительно. 17 июня депутаты Тьер-Этат решились на судьбоносный шаг и по предложению Съеса самостоятельно сформировали Национальное собрание Франции. Правительство, встревоженное этой узурпацией власти, решило подтвердить свою власть и, предлагая обширную программу реформ, настаивать на разделении трех орденов. 20-го числа общинники были исключены из своего зала, и их заседания были прерваны; но они продолжали придерживаться принятой ими политики и, удалившись одновременно в Теннисный суд, торжественно поклялись никогда не расходиться, пока не дадут Франции конституцию. 23-го числа король вошел в Зал собраний и, предложив значительные уступки, аннулировал резолюции общин. Но общины, воодушевленные смелыми словами Мирабо, отвергли программу, которую им изложил Людовик,

придерживались своих постановлений и бросили вызов короне. Через несколько дней Людовик потребовал от дворян и духовенства прекратить борьбу, и союз трех орденов был завершен.

Но придворная партия горько возмущалась узурпацией общин. Беспорядки в Париже быстро нарастали. Неккер демонстративно держался в стороне от своих коллег. Король, расстроенный и смущенный, поддался на уговоры более вспыльчивых придворных, которым помогло непосредственное влияние королевы, и попытался вернуть себе власть, которой он позволил ускользнуть из своих рук. Старый маршал де Брольи, ветеран Семилетней войны, был призван к королевским советам. Огромные массы войск, состоящие в основном из швейцарских и немецких полков, находящихся на службе Франции, были сосредоточены, несмотря на протесты Ассамблеи, вокруг Парижа и Версаля. 11 июля Неккер и три других министра были отправлены в отставку, а их места в правительстве заняли убежденные приверженцы реакционной партии. 12-го числа эта новость достигла Парижа, и народ, напуганный, голодный и возмущенный, поднял восстание. 14-го числа это восстание вылилось в решающее движение, разрушившее Бастилию, разбившее планы придворной партии, завершившее триумф революции и унижение короны.

"С 14 июля, - сказал один мудрый и просвещенный свидетель того времени, - начался террор". Восстание в Париже стало сигналом для первой общей вспышки жестоких беспорядков во Франции, которая доказала, что обездоленные классы взяли закон в свои руки, а правительство было совершенно неспособно справиться с ними или контролировать их. Самым сильным мотивом для беспорядков была, несомненно, материальная нужда. На протяжении многих лет положение беднейших крестьян и рабочих, как в городах, так и в сельской местности, было почти невыносимым, а в 1789 году хроническое бедственное положение этого многочисленного класса достигло острой стадии. В 1788 году после сильной засухи, последовавшей накануне сбора урожая, разразился град необычайной силы и масштабов, который уничтожил урожай на протяжении шестидесяти лье вокруг Парижа. За ним, в свою очередь, последовала самая суровая зима за последние восемьдесят лет, которая довершила разрушения, начатые засухой и бурей. В результате весной и летом 1789 года цены на хлеб выросли, как во время осады, и со всех сторон раздались крики о голоде. Из всех частей Франции весной 1789 года приходили одни и те же тревожные слухи о нехватке и бедствии. Со всех концов Франции в месяцы, предшествовавшие взятию Бастилии, приходили одни и те же сообщения о волнениях и беспорядках, вызванных нехваткой продовольствия. Недовольные крестьяне, безработные, быстро превращавшиеся в преступников из-за голода, переходили от терпеливого страдания к отчаянию и переходили к сопротивлению. Потерпев поражение в деревне, они укрывались в городах; так, в апреле и мае наблюдатели заметили, что "ужасающее количество одетых людей зловещего вида", многие из которых были иностранцами, все более или менее обездоленные и опасные, хлынули в Париж, где хлеб уже был непомерно дорог, а число безработных и нищих составляло опасную пропорцию к населению города.

Беспорядки, вызванные нехваткой продовольствия, стимулировались еще одним мотивом, уступавшим ему по важности, - лихорадочным возбуждением политических надежд. Угнетенный и невежественный, рабочий класс Франции, тем не менее, ухватился за мысль, что каким-то смутным образом собрание Генеральных штатов ознаменовало эпоху в их жизни и так или иначе призвано облегчить невыносимое бремя их участи. Для них политическая свобода и конституционная реформа приняли непосредственную форму еды, работы, избавления от феодализма и налогов. Как только в них зародилась эта идея, их беспокойное ожидание быстро усилилось. Каждая неделя промедления делала их менее

выполнимыми. Каждая проверка, с которой сталкивалась Ассамблея, подстегивала их нетерпение. Каждый шаг правительства, направленный на утверждение своей власти или подавление реформаторов, вызывал у них негодование, подозрения и панику. В бедных районах Парижа, и особенно в садах Пале-Рояля - штаб-квартире богемы, бездельников, злоумышленников, толпы - политическое волнение того времени находило свое выражение в постоянных демонстрациях, нередко сопровождавшихся беспорядками и вспышками. Регулярные власти города, не привыкшие к этому зрелищу, смотрели на него, не в силах его контролировать. Полиция Парижа при Древнем режиме была настолько мала, что практически бесполезна. Гарнизон, сформированный из французских садов, отвечавших за поддержание порядка, симпатизировал горожанам, которые не жалели ни гостеприимства, ни лести, чтобы заполучить их, и в конце концов, взбунтовавшись против своих офицеров, перешли на сторону народа. Другие полки, расположенные поблизости, проявили заметную склонность последовать примеру французских садов. Правительство, покинутое своими агентами, отступило, а дух беспорядка, порожденный жаждой пищи и стремлением к свободе, овладел Парижем и взял на себя командование Революцией.

Примеру, поданному Парижем, немедленно последовали в провинциях. В Страсбурге, Лионе, Дижоне, Труа, Безансоне, Руане, Кане, по всей стране вспыхивали стихийные восстания, направленные против властей или практики Древнего режима и часто сопровождавшиеся насилием и кровопролитием. Люди, подгоняемые голодом и лихорадочным возбуждением того времени, полагая, что настал час их освобождения, решили освободиться сами. В разных местах восстание принимало сотни различных форм. В городах-гарнизонах народ, подражая парижанам, нападал на ближайшую крепость или замок, и, как и в Париже, войска обычно братались с нападавшими. В некоторых кварталах народное негодование было направлено против налоговых и таможенных касс, в некоторых - против местных магистратов, в некоторых - против десятины, в некоторых - против недавно введенных машин, в некоторых - против евреев, в большинстве - против торговцев кукурузой и всех, кто связан с торговлей зерном. В городах бедствующие рабочие восставали против буржуа и против несправедливой экономической системы, которая давно сделала их положение невыносимым. В сельской местности крестьяне восставали против беззаконий феодализма, сжигали монастыри и замки, где хранились судебные списки, записи ненавистных им обязательств. Несомненно, вместе с желанием исправить злоупотребления в сознании невежественного и озлобленного крестьянства смешались жестокость и преступления. Во многих местах была объявлена беспорядочная война против всех видов собственности, а вспыхнувшая война приняла форму борьбы между богатыми и бедными. Но самыми заметными чертами революционного движения были, во-первых, его всеобщность, а во-вторых, бессилие властей противостоять или подавить его. Повсюду агенты администрации терпели крах. Интенданты, суды, полиция были полностью парализованы, отреклись от власти или исчезли, а жители городов и деревень, осознав беспомощность правительства, поддались неизбежной панике.

Следствием этого стало то, что июль и август прошли под знаком чувства незащищенности, равносильного террору. По стране поползли самые дикие слухи, и можно найти самые необычные случаи, когда люди, охваченные паникой из-за неясного, необоснованного сообщения о приближении разбойников, не существовавших в их воображении, бросались к оружию или бежали в укрытие, чтобы защитить себя от собственной тревоги. Одним из результатов "великого страха" стало то, что со всех сторон возникли добровольные отряды граждан, заинтересованных в восстановлении порядка, в подражание Национальной

гвардии, только что организованной в Париже, к которой им суждено было в скором времени присоединиться; и эти добровольные отряды, хотя иногда и использовались буржуа для подавления движений и поддержания покорности рабочего класса, все же оказали неоценимую помощь в восстановлении мира. Кроме того, на месте органов власти, существовавших при Старом режиме, возникли неформальные муниципальные комитеты, состоявшие из выборщиков, которые, узурпировав полномочия, от которых отказалось правительство, быстро организовались, заручились повиновением своих сограждан и принялись, как могли, восстанавливать управление страной. Быстрота и мастерство, с которыми эти муниципальные комитеты и их добровольческие силы организовали себя, ясно иллюстрируют готовность провинций действовать по собственной инициативе и взять на себя ответственность за Революцию, и показывают, насколько полностью народ Франции сначала не отставал, если не опережал, своих лидеров в Париже и Версале.

Самым очевидным и мудрым курсом Национального собрания было бы как можно быстрее узаконить столь внезапно произошедшие изменения и без промедления приступить к организации новой административной системы. После 14 июля король полностью капитулировал, и Собранию оставалось только действовать, чтобы ему подчинялись. Задача перед ним стояла, правда, трудная и почти бесконечная. Необходимо было срочно восстановить порядок. Но было также необходимо - и Ассамблея этого не видела - как можно быстрее создать какую-то форму местного самоуправления, чтобы заменить исчезнувший старый порядок. Необходимо было каким-то образом обеспечить необходимые доходы, пока не будет организована постоянная финансовая система, взамен старых налогов, которые люди больше не будут платить. Необходимо было предпринять шаги, чтобы убедить не только буржуа и крестьян, но и бедствующих ремесленников в городах, что Собрание осознает насущные потребности момента, реально понимает положение дел и сделает все возможное для защиты их интересов и спасения от голодной смерти, которой они неминуемо боялись. Именно к таким мерам призывал Мирабо своих коллег, но, к сожалению, в Собрании было мало людей, обладавших даром практического государственного управления, которым гений, освещенный опытом, наделил Мирабо.

Характер этого знаменитого собрания, прочитанный в свое время критическим, но дальновидным взглядом Берка, вызвал удивление потомков. Самой примечательной его чертой было отсутствие практического опыта. Среди высшего духовенства и знати, правда, были некоторые депутаты, которые благодаря своему положению получили некоторое представление о делах, но эти люди вызывали недоверие у своих коллег, поскольку умеренность, которой их научил опыт, очевидно совпадала с их интересами. Среди членов Общины не было и десятка людей, занимавших важные административные посты. Только один депутат, Малуэ, занимал большой пост интенданта и, следовательно, был действительно знаком с работой старой административной системы. Подавляющее большинство депутатов Общин состояло из юристов с небольшой известностью, которые принесли в Ассамблею все возможности для выражения мнений, но мало утилитарной осторожности, которая в Англии ассоциируется с их профессией. Место опыта в случае большинства членов Ассамблеи заняли богатое воображение, безграничный оптимизм, огромный запас философских штампов и демократических фраз, роковая беглость речи, прекрасная вера в логику, академическое пренебрежение к грубым фактам практического существования. Никогда еще ни одно человеческое сообщество не было так вдохновлено надеждой и уверенностью, так полно благородного энтузиазма, так убеждено в своей способности или так твердо стоит на своем честном желании возродить мир.

Соответственно, ранняя история Ассамблеи отмечена рядом странных сцен, возможных только в народе, у которого крайняя разносторонность темперамента заменяет юмор, иллюстрирующих восприимчивость, эмоциональность, лихорадочное возбуждение, готовность всего организма действовать по импульсу момента, невзирая на возможные последствия. Удачная фраза, остроумное высказывание, взрыв декламации - все это сбивало с ног и решало судьбу дивизии. Невероятное количество письменной риторики, произносимой с трибуны, тратило огромное количество времени, но всегда находилась аудитория, готовая аплодировать ей. Дебаты проходили без особого порядка. Полное отсутствие метода в Палате часто мешало деловой работе ее комитетов. Мирабо тщетно убеждал своих коллег перенять процедуру английской Палаты общин. Французский народ, только что получивший эмансипацию, с презрением относился к примеру других народов. В больших залах Парижа и Версаля, где последовательно заседало Собрание, процесс принятия законов сопровождался постоянным шумом разговоров и движений, прерываемым шумными криками и жестами, обструкцией и личными оскорблениями, и усугублялся присутствием на галереях большого количества чужестранцев, которых Собрание сначала приветствовало, а затем тщетно пыталось сдерживать их буйство. Шумные демонстрации в галерее чужаков поощряли экстремальные речи и предложения, срывали непопулярных ораторов и постепенно организовывали своеобразное правление толпы. Обитатели галерей в конечном итоге стали одной из самых больших опасностей и недостатков Ассамблеи. С помощью запугивания, которое они практиковали не только в ее стенах, но и на улицах, они запугивали и терроризировали даже храбрых людей; и в конце концов они заставили замолчать или бежать многих политиков, чье влияние было бы ценным для дела умеренности и здравого смысла.

Эти факты не следует забывать при рассмотрении действий Ассамблеи, поскольку они помогают объяснить медлительность ее процедуры и иллюстрируют неопытность, которая была ее основным, но неизбежным недостатком. Кроме того, в июле и августе Ассамблея, вероятно, все еще была поражена собственным успехом и едва ли осознавала свое всемогущество. Большинство депутатов большинства, хотя и стремились к реформам, не имели определенных взглядов, и среди них еще не существовало механизма политических партий и политических принципов. Как следствие, вместо того чтобы действовать энергично и четко, они предавались общим рассуждениям. Они вообразили, что люди, уже охваченные бунтом, жаждущие пищи и справедливой возможности заработать ее, будут удовлетворены повторными заверениями в том, что они равны, суверенны, свободны; и принялись неделями обсуждать Декларацию прав человека. От этой темы они перешли к рассмотрению основ новой конституции, и в сентябре были решены два важных конституционных вопроса. Ассамблея подавляющим большинством голосов отвергла предложение о разделении будущего парламента на две палаты по английскому образцу и постановила, что в конституции, которую они начали создавать, должна быть только одна палата. Во-вторых, ревниво относясь к королевской власти и введенные в заблуждение негосударственными советами, Собрание, вопреки мудрому мнению Мирабо, постановило, что король должен иметь не абсолютное, а лишь отлагательное вето на законы, принятые будущим парламентом; другими словами, он не должен иметь возможности отклонить любую меру, одобренную Палатой, но может отказать ей в санкции до тех пор, пока время или волнения не заставят его уступить. Лишь однажды в эти первые недели Ассамблея приблизилась к вопросам, которые действительно волновали Францию, когда в ночь на 4 августа, ужаснувшись докладу своего собственного комитета, она поддалась импульсу момента и отменила серией безрассудных резолюций все феодальные пережитки, крепостное право, десятину, все освобождения от налогов и все другие исключительные привилегии, существовавшие в королевстве. И все же, каким бы неразумным ни казалось нам поведение

Собрания и каким бы неспособным оно ни оказалось, ничто не может быть яснее, чем честность намерений, которыми оно руководствовалось в целом в эти первые дни, и искренний энтузиазм во имя гуманности и справедливости, который диктовал его политику и наполнял его дебаты.

Но пока Ассамблея дискутировала, Париж голодал. Победа 14 июля мало чем помогла парижанам, а беспорядки, сопровождавшие ее и вновь вспыхнувшие через неделю в результате убийства ненавистного интенданта Фулона, отнюдь не прекратились. Через три дня после падения Бастилии король прибыл в Париж, чтобы публично примириться со своими подданными, а Байи и Лафайет были неофициально избраны: один - мэром Парижа, другой - главнокомандующим новой Национальной гвардии. Лафайет сразу же приступил к работе по формированию Национальной гвардии Парижа в гражданскую армию численностью тридцать тысяч человек и включил в нее Французскую гвардию в качестве оплачиваемого батальона. Он не пожалел усилий, чтобы прикрепить эту армию к своей персоне; очевидно, что он намеревался использовать ее не только для поддержания порядка в интересах среднего класса и сдерживания большого недовольного элемента, который кишел в городе, но и как политический инструмент, чтобы направлять Революцию в соответствии со своими взглядами. Но даже имея за спиной такую силу, Лафайет обнаружил, что поддерживать порядок очень трудно, а Байи, со своей стороны, был переполнен тревогой, работая день и ночь с хлопотливыми подчиненными, чтобы снабдить столицу хлебом, который с каждым днем становился все дороже и труднее.

Тем временем причины, которые приводили к беспорядкам, не уменьшались, а постоянно увеличивались. Началась эмиграция аристократов. Париж, который всегда был городом роскоши и во многом зависел от продажи предметов роскоши, оказался покинутым двором, богачами, путешествующей публикой, многочисленным классом, чьи дорогие потребности он удовлетворял и кого июльские беспорядки изгнали. Тысячи портных, сапожников и парикмахеров, лишившихся работы, тысячи домашних слуг, лишившихся мест, тысячи изготовителей кружев и вееров, карет и обивки мебели, украшений и безделушек, лишившихся работы из-за прекращения их ремесел, стали собираться и устраивать демонстрации в разных кварталах города. Нищие из деревни и дезертиры из армии продолжали прибывать в город, чтобы побрататься с народом, принять участие в захватывающей политике Пале-Рояля, усилить давление на продовольственные запасы. Тщетно новые муниципальные власти открывали на Монмартре пункты помощи и продавали зерно булочникам с большими потерями. Недовольство становилось все более всеобщим и угрожающим. Ораторское искусство Пале-Рояля, с напряженным вниманием следившее за дебатами в Собрании и почти готовое взяться за оружие в защиту приостанавливающего вето, усилилось. Подозрительность и недоверие ко двору, навеянные, возможно, эмиссарами герцога Орлеанского, которые во многом способствовали июльской вспышке, с наступлением сентября возрождались в полную силу. Парижане знали или подозревали, что одна из партий при дворе постоянно уговаривает короля удалиться из Парижа. Они верили, что их беды никогда не закончатся, пока король и Собрание не окажутся среди них. И когда в конце сентября правительство, действуя, вероятно, в интересах порядка, ввело в Версаль Фландрский полк, а придворные сделали прибытие войск поводом для большой роялистской демонстрации, волнение в столице снова вырвалось за пределы, и необыкновенный поход женщин в Версаль привел к захвату короля.

События 5 и 6 октября не нуждаются в описании. Их происхождение до сих пор остается загадкой. Но их результат был очень важен. Королевская семья и Национальное собрание были перевезены в Париж и в дальнейшем находились в нем в качестве заложников в руках

сильнейшей партии. Судьба Парижа стала решающей для судьбы революции во Франции. Но демократические силы, одержавшие победу, не воспользовались ее плодами. Преимущество движения полностью перешло к партии, представлявшей взгляды и последователей Лафайета, партии реформаторов среднего класса, которые, обезопасив личность короля, окончательно разгромили силы реакции и сами получили контроль над революцией. Именно эта партия организовала Национальную гвардию. Теперь, когда она одержала победу, она искренне желала укрепить свободу и порядок на свой манер. Но, к сожалению, против нее справедливо выдвигается обвинение в том, что она, сознательно или бессознательно, не заботилась об интересах стоящего ниже класса, с помощью которого она добилась своего триумфа и которому в свою очередь суждено было быть свергнутым. Вождем этой партии был Лафайет; и чем больше изучаются записи тех двух дней, тем труднее удержаться от вывода, что все действия Лафайета были рассчитаны на его собственную выгоду, и что его намерение состояло в том, чтобы использовать силы революции настолько, чтобы напугать короля, чтобы он покорился, а затем появиться на сцене в качестве его освободителя и обратить покорность короля в свою пользу. В этом намерении Лафайет преуспел, и события 5 и 6 октября сделали его взгляды и его власть на некоторое время доминирующим влиянием в государстве.

ГЛАВА IV.

Деятельность Учредительного собрания.

После прибытия в Париж Собрание, несмотря на многочисленные перерывы, продолжило работу над созданием новой конституции, и та же слепая привязанность к увлекательным теориям, которая потратила столько недель на бесплодные дискуссии в Версале, пронизывала его дебаты и постановления в Париже. Большая часть членов Собрания была полна решимости воплотить в жизнь идею народного суверенитета и соблюсти, насколько это возможно с точки зрения логики, естественные права человека. Если факты или опыт вступали в противоречие с этими теориями, то факты и опыт должны были идти на стену. Обстоятельства, потребности или традиции народов казались им малозначительными по сравнению с вечными принципами, которые философия заложила в основу управления миром. В соответствии с этими взглядами рабы во французской колонии Сен-Доминго были немедленно освобождены, не обращая внимания ни на трудности, связанные с таким резким шагом, ни на катастрофу, которая за этим непременно последует. "Пусть лучше погибнут колонии, - воскликнул один из членов Ассамблеи, - чем мы пожертвуем принципом". В соответствии с этими взглядами были отменены все дворянские титулы, как "противные разуму и истинной свободе". Подписывать свое имя в старом стиле стало правонарушением, а впоследствии и преступлением для дворянина. Ассамблея научила народ считать звание чем-то дурным; и народ, подхватив эту идею и окрасив ее своими собственными страхами и древней ненавистью, вскоре стал рассматривать всех обладателей звания как злодеев, которые не имеют права на справедливое обращение или защиту закона, и для которых надлежащей судьбой является гильотина. На тех же туманных теориях была построена конституция. Стремление передать суверенитет в руки народа привело к тому, что Ассамблея возложила множество сложных политических обязанностей на огромную массу граждан, которые до сих пор не выполняли никаких политических функций. В то же время они максимально сократили и затруднили системой продуманных сдержек власть, которую оставили во главе дел тем, кто давно привык к политическим

обязанностям и, конечно, выполнял их очень плохо. В результате правительство было полностью парализовано, а конституция обречена на провал.

Лучшая надежда для Революции заключалась в скорейшем создании сильного правительства, состоящего из людей, полностью согласных с большинством в Ассамблее, обладающих властью, достаточной для обеспечения порядка, и популярностью, достаточной для получения поддержки. Создание такого правительства с самого начала было целью Мирабо; но Ассамблея вскоре сделала это невозможным. Подавляющее большинство депутатов, принявших тезис о том, что вся власть должна исходить от народа, считали следствием этого тезиса, что исполнительное правительство, которое номинально исходит от короля, противоречит интересам народа, а все исполнительные агенты противны свободе. В их сознании, естественно, исполнительная власть ассоциировалась со старой монархией и судом, а старую монархию и суд они справедливо считали антагонистическими по отношению к принципам свободы. Правильным решением было поставить исполнительную власть в полную зависимость от народной воли и объединить ее с Собранием настолько тесно, чтобы политика и интересы обоих были одинаковыми. Вместо этого Ассамблея поставила барьер между собой и исполнительной властью, сделав невозможным сердечное сотрудничество, и в начале ноября 1789 года приняла крайне неудачный декрет, лишив всех членов палаты права занимать места в правительстве.

Справедливо или нет приписывать декрет от 7 ноября влиянию Неккера и Лафайета и их ревнивому страху перед честолюбием Мирабо. Но из всех мер Собрания, пожалуй, не было ни одной, которая имела бы более катастрофические последствия для Революции. Только сильное правительство могло справиться с растущей анархией во Франции; но с этого дня сильное правительство стало невозможным, пока законодательное собрание, чтобы избежать созданных им трудностей, не наделило свои собственные комитеты диктаторскими полномочиями. С этого дня пропасть между Собранием и короной неизбежно расширялась. Члены Собрания потеряли всякую возможность приобрести опыт и стабильность, в которых они так нуждались. Их ревность и недоверие к исполнительной власти углублялись. Поскольку они не выбирали министров и не доверяли им, они решили узко ограничить их полномочия, ограничивая и стесняя их на каждом шагу. Король, глава этой опасной исполнительной власти, был максимально лишен полномочий. Ему не разрешалось накладывать вето на меры Ассамблеи, за исключением ограниченного времени. Он не имел права созывать, откладывать или распускать его. Только после решительной борьбы и благодаря необычайному влиянию Мирабо королю и его министрам было позволено сохранить за собой инициативу в вопросах войны и мира. Они были лишены почти всякой власти над своими собственными агентами в правительстве и законодательстве. Они не имели права назначать, контролировать, награждать или наказывать подчиненных, которые номинально выполняли их приказы. Ассамблея возлагала на них ответственность за безопасность страны. Оно следило за ними с ревнивой тщательностью. Оно угрожало им непосильными наказаниями в случае нарушения. Оно сознательно отказывалось быть связанным с ними или разделять их обязанности. Оно с самого начала относилось к ним как к подозреваемым лицам и сводило их к фигурантам, на которых можно было направить клевету, которую составляли его собственные страхи. Одним из первых шагов, предпринятых Собранием для создания новой конституции, стало превращение государственного управления в почти невыполнимую задачу во Франции.

Едва ли менее злонамеренной, чем страх перед исполнительной властью, была страсть к избирательным ухищрениям, которая владела Собранием. В какой-то степени именно эта

страсть руководила им при отказе от верхней палаты, но глубина этого чувства была более проиллюстрирована новой системой местного самоуправления, которую оно приняло зимой 1789-1790 годов. В соответствии с этой системой все существующие деления и провинциальные различия были сметены, и страна была максимально симметрично разделена на 83 департамента. Эти департаменты далее подразделялись на 574 округа, на 4 730 кантонов и, наконец, на 44 000 коммун или муниципалитетов[6]. Из этих четырех делений кантоны не имели никакого административного значения, они были придуманы только для симметрии и облегчения избирательных операций. Но каждый из остальных, каждый департамент, округ и муниципалитет, имел свою собственную маленькую конституцию, основанную на всенародных выборах, но имеющую множество разновидностей и сложных форм. Каждый департамент, округ и муниципалитет имел свой совет или совещательный орган, а также своих исполнительных чиновников. Должностные лица муниципалитетов избирались непосредственно их жителями. Но высшие должностные лица округов и департаментов, как и депутаты Национального собрания, избирались по двойной системе выборов. Первичные собрания кантонов, то есть все "активные" граждане каждого департамента, сначала выбирали выборщиков, а затем эти выборщики избирали чиновников своего департамента, чиновников округов, входящих в этот департамент, и, наконец, депутатов, которые должны были представлять департамент в Национальном собрании в Париже. Право голосовать за всех этих чиновников было ограничено "активными" гражданами, то есть всеми гражданами старше двадцати пяти лет, которые платили в виде прямых налогов государству сумму, равную трехдневному заработку. Право баллотироваться на любую из должностей было также ограничено теми, кто платил прямые налоги, равные марке серебра. Все активные граждане должны были служить в Национальной гвардии, в которой каждый муниципалитет имел свой собственный батальон. Национальные гвардейцы сами выбирали себе командиров и находились под непосредственным контролем муниципальных властей, на которых лежала главная ответственность за поддержание порядка.

Создать более сложную и трудную для работы систему было бы непросто. Цель создания этих многочисленных органов с их бесчисленными чиновниками заключалась в том, чтобы они уравновешивали и контролировали друг друга. Результатом стал всеобщий паралич. Огромное количество новых чиновников делало невозможной быстроту работы. Стоимость их зарплат, хотя и невысокая по отдельности, в совокупности была очень высокой. Необычность их функций, которые были очень многочисленны и включали в себя оценку и сбор налогов, поддержание религии, образования и общественных работ, контроль над улицами и шоссе, санитарии, закон о бедных, тюрьмы и полицию, в любом случае была бы достаточно неудобной; но она стала гораздо более сложной, когда никто не мог сказать, где заканчиваются его собственные функции и начинаются функции другого человека. Половина новых чиновников с самого начала обнаружила, что другая половина склонна сомневаться в их власти, оспаривать их приказы и обвинять их в превышении прав. Высшие не имели возможности принудить к повиновению своих подчиненных, которые оспаривали приказы, которые им не нравились, и выполняли их или не выполняли, как им вздумается. В неразберихе того времени привычки к дисциплине и послушанию, естественно, ослабли, и несговорчивые подчиненные могли с некоторой силой утверждать, что они так же хорошо, как и их начальники, умеют толковать принципы "Прав человека".

Таким образом, вскоре стало очевидно, что реальная власть в новой системе принадлежит не высокопоставленным чиновникам департаментов и не беспомощным министрам в Париже, а сорока четырем тысячам коммун, которые во многих отношениях были независимы от своих начальников и сами управляли своими делами. На коммунальные

власти была возложена задача подавления беспорядков и волнений, а также управление для этой цели военной силой. На них была возложена огромная исполнительная работа и обязанность детально проводить в жизнь все великие социальные и политические реформы, благодаря которым декреты Национального собрания месяц за месяцем меняли облик Франции. Во многих местах коммунальные или муниципальные чиновники были невежественными и необразованными людьми, поскольку в сельских приходах часто не было буржуа, местные священники не имели права занимать должности, а местное дворянство было беглым или "подозреваемым". В двадцати тысячах новых муниципалитетов, как было заявлено в Собрании, избранные чиновники не умели ни читать, ни писать. Люди такого типа - да и любого другого типа - перегруженные работой, окруженные новизной и беспорядком, озадаченные множеством своих обязанностей и соратников, непременно находили свою задачу непосильной и быстро впадали в путаницу и недоимки. Не успела установиться новая система, как ее служители стали невольно обнаруживать, насколько невозможно успешно работать по ней.

Одной из самых заметных черт нового порядка было требование, которое он предъявлял к человеческому времени. По оценкам, при нем каждый тридцать четвертый мужчина в стране занимал должность. Но даже для тех, кто избежал служебных хлопот, оставалось немалое бремя гражданственности. Каждый активный гражданин был выборщиком и членом Национальной гвардии. Поскольку беспорядки были постоянными, служба в Национальной гвардии вскоре стала обременительной. Поскольку выборы множились, поскольку каждое место в муниципалитете, в округе, в департаменте, в законодательном органе, а вскоре и в различных отраслях права и церкви заполнялось путем выборов, и поскольку каждые выборы предполагали собрания, комитеты, агитацию и большие затраты времени, обязанности выборщика постепенно становились невыносимыми. История бесчисленных выборов, проведенных во Франции после начала революции, ясно показывает, что занятые, работающие люди через некоторое время оказывались не в состоянии выполнять все обязанности, возложенные на них государством, и, погружившись в дела, отстранялись от политики, когда их первый энтузиазм угасал, и отказывались приходить на избирательные участки. Политика все больше и больше переходила в руки тех, кто был готов зарабатывать на ней. Только незанятые и амбициозные люди были готовы уделять время речам, собраниям, организации партии, всем этим искусствам разных оттенков, с помощью которых завоевываются минутные демократии и которые необходимы для политического успеха, где каждый пост на службе в государстве становится призом для избирателя.

Любопытно, однако, отметить в новой конституции два момента, по которым преданность Собрания теоретическим правам уступила место преданности другим соображениям. Два декрета, ограничивающие право голоса и устанавливающие имущественный ценз для занятия должности, были явно несовместимы с высокими доктринами о правах человека. Их важность особенно ощущалась в Париже, где они затронули большое количество энергичных политиков, в том числе множество журналистов и рабочих с нерегулярной занятостью. Они сразу же стали предметом резкого протеста в демократической прессе, а более продвинутые лидеры воспользовались случаем, чтобы с неопровержимой силой указать на склонность Ассамблеи продвигать интересы и влияние буржуа за счет рабочего класса. Ничто, вероятно, среди ранних мер Собрания не придавало такой окраски этой идее, как эти два декрета, и не углубляло чувство антагонизма по отношению к среднему классу, которое уже было заметно среди рабочих в городах.

Та же склонность к избирательным приемам проявилась и в судебных реформах Собрания. Ни одна часть ее работы не была задумана лучше и, благодаря влиянию великих юристов в

палате, не была проведена в лучшем духе, чем эта. Старые суды и Парламенты с их злоупотреблениями и задержками, а также нежелательной системой оплаты пошлин были сметены. Власть произвольного заключения, практика пыток, прозаические казни за ересь, неравенство в отправлении правосудия и несоразмерные наказания за пустяковые проступки, которые в то время позорили уголовные кодексы почти всех европейских стран, были заменены новой и более справедливой системой. Суд присяжных стал правилом при рассмотрении уголовных дел. Для защиты обвиняемых разрешалось привлекать адвокатов. В судопроизводстве была введена полная гласность. Была создана простая система отправления правосудия. В каждом округе был создан гражданский суд, в каждом департаменте - уголовный суд, в Париже - апелляционный суд последней инстанции; кроме этих судов, по всей стране действовали небольшие суды суммарной юрисдикции под началом *Juges de Paix*, а в Орлеане - специальный Высокий суд для рассмотрения дел об измене нации. Но как бы ни была восхитительна во многих отношениях новая система и как бы ярко она ни контрастировала с мрачными практиками Древнего режима, во всем этом был один серьезный недостаток, который значительно снижал ее ценность. За редким исключением, судьи и должностные лица судов назначались всенародными выборами на короткий срок и, таким образом, могли быть лишены своих должностей, если их приговоры и поведение не совпадали с народными настроениями. Такое положение, по мудрому мнению, представляло серьезную опасность для правосудия даже среди спокойного и разумного народа. Оно было бесконечно опаснее во времена революции, когда разум был гораздо менее силен, чем подозрения, а политические страсти были чрезвычайно высоки.

Ассамблея перенесла даже в военные дела свой страх перед властью и свое пристрастие к абстрактным теориям и избирательным схемам. И армия, и флот находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Дух политического неповиновения распространился далеко в обеих службах, порождая мятежи и недовольство. Состояние армии, особенно армии, уже давно давало повод для тревоги. Нигде так ревностно не соблюдалась система сословных различий. Все высшие должности в армии были открыты только для людей, обладающих чином, и даже при Людовике XVI были введены новые правила для охраны и обеспечения этого сословного различия. Жалованье высших офицеров иногда было очень высоким, а число генералов - до смешного большим. С другой стороны, жалованье рядовых было крайне низким, и было известно, что даже пособия, выдаваемые им государством, часто урезались офицерами, через руки которых они проходили. Казармы, постели и пища, предоставляемые солдатам, как правило, были плохими и недостаточными. Рекруты набирались из самых низких слоев населения страны. Престиж и тон службы пострадали за последние годы, а попытка Людовика XVI ввести более жесткую и изнурительную систему учений еще больше усилила дух недовольства. На армию, и без того недовольную, доктрины о правах человека и ожидания всеобщих перемен и избавления от угнетения, сопровождавшие Революцию, оказали свое естественное воздействие. Со всех сторон появились признаки мятежа. Люди отказывались подчиняться своим офицерам, создавали комитеты и проводили собственные собрания, направляли петиции в Национальное собрание, требовали увеличения жалованья и распоряжения полковыми сундуками. Дезертирство быстро росло. И солдаты, и офицеры пренебрегали правилами дисциплины и ставили в неловкое положение своих начальников. Со всех сторон рядовой состав армии проявлял склонность к братанию с народом и отказывался служить для подавления беспорядков. Наконец, в августе 1790 года серьезный мятеж в Нанси открыл глаза Собранию на опасность ситуации; и подавляющее большинство его членов согласилось с энергичной и образцовой суровостью, с помощью которой Буйе, при поддержке национальных гвардейцев округа, привел мятежные полки к порядку.

Однако никакие опасности не могли заставить большинство членов Ассамблеи понять, что для сохранения армии и флота солдаты и матросы должны быть подвергнуты строгой дисциплине и управляться по исключительным законам, без учета абстрактных прав человека. Они приступили к работе, правда, с целью реорганизации обеих служб. Они упразднили ненавистное ополчение. Они отказались санкционировать призыв в армию, хотя и разрешили его в определенных пределах для флота. Они повысили жалование военнослужащим. Они открыли возможность продвижения по службе в обеих службах для всех чинов и условий. Они отменили избыток высокооплачиваемых должностей и установили некоторые другие разумные правила для обоих ведомств. Они воздержались, несмотря на свои склонности, от того, чтобы сделать все военные и морские должности выборными. Но они ревностно ограничивали полномочия короля по назначению офицеров. Они не могли осознать необходимость поддержания дисциплины любой ценой и старались ограничить власть офицеров над своими подчиненными такими положениями, какие только могли придумать. Они предоставили солдатам право обжаловать действия своего командира у ближайшего гражданского судьи. Они передали управление военными сундуками в руки совета, избранного полком. Они разрешили солдатам создавать клубы и ассоциации и обращаться в Ассамблею за защитой своих прав. Они настаивали на том, чтобы считать солдата гражданином; и хотя в отношении чисто военных преступлений они оставляли его под юрисдикцией военных судов, даже в этих судах принимались особые меры для защиты прав обвиняемых и уменьшения влияния военных властей. Результатом всех этих правил стало то, что правительство больше не могло полагаться на свои силы, а дисциплина в обеих службах оставалась основательно расшатанной, пока приближение национального бедствия не научило французов необходимости, которую не могли предотвратить никакие теории, и пока жесткая дисциплина опасности не превратила эти беспорядочные и мятежные батальоны в самую великолепную армию, которую видел мир.

Но более серьезными, чем ошибки в отношении судебной и военной реформ, были ошибки Ассамблеи в отношении Церкви. Атака на церковь рассматривалась во многих кругах как наиболее яркий пример ее неразумности. Низшие слои французского духовенства в значительной степени разделяли энтузиазм французов по отношению к Революции. Некоторые из них были одними из самых просвещенных членов Ассамблеи и были готовы от всей души сотрудничать в деле реформ. Но финансовые трудности государства не выходили из головы Ассамблеи, а огромные владения Церкви, казалось, предлагали слишком заманчивый способ выхода из этих трудностей, чтобы его можно было не замечать. Именно с этой стороны и началась атака. Уже 4 августа 1789 года десятины были отменены, и часть доходов Церкви была таким образом урезана, не принеся, как тщетно указывал Съезд, облегчения никому, кроме землевладельцев. Осенью следующего года Мирабо провел через Собрание декрет, объявляющий церковные владения собственностью нации, и в начале нового года началась работа по их восстановлению. В феврале 1790 года монастыри и религиозные дома были упразднены, а их имущество конфисковано. В апреле было предложено проголосовать за бюджет на содержание духовенства. В июне, идя еще дальше, Собрание взялось за реорганизацию всей церковной системы, и после долгих и оживленных дебатов в июле была принята Гражданская конституция духовенства. В августе Ассамблея официально взяла на себя управление имуществом Церкви.

Новая конституция духовенства была сама простота. Монастыри, капеллы, каноники, епархии - все препятствия к единообразию - были упразднены. На каждую кафедру назначался один епископ, а на каждый приход - один священник. Для содержания новой иерархии были утверждены доходы от пятидесяти тысяч франков для самых богатых епископов до шести тысяч франков для самых бедных священников - доходы сами по себе

вполне справедливые и являющиеся заметным улучшением по сравнению с сочетанием бедности и расточительности старой системы. Любовь Ассамблеи к совещательным органам была удовлетворена предоставлением епископам церковных советов, которые должны были их консультировать, а ее привязанность к выборным принципам была продемонстрирована удивительным декретом, который объявил, что в будущем и епископы, и священники должны избираться голосами их паствы. Столь масштабные изменения неизбежно должны были вызвать противодействие и привести к провалу. Даже с финансовой стороны, которая на бумаге сулила государству очень большую экономию, быстро возникли трудности. Ассамблея, намереваясь действовать справедливо, взяла на себя обязательство выплачивать пенсии многочисленным церковникам, чьи интересы жизненно пострадали от реформ. Но денег не хватало, а расходы, взятые на себя государством, были очень велики. Лишенные собственности церковники, монахи и монахини, вскоре начали ощущать значение перемен, и в их истории появилось множество жалких случаев нужды и бедствий. С упразднением монастырских фондов пришли в упадок и поддерживаемые ими институты, а их школы и приюты пришли в упадок. Разрушение столь древней и широко распространенной системы, как бы оно ни было необходимо, не могло быть осуществлено в период революции без значительных страданий и несправедливости. Но методы Ассамблеи усугубляли жестокость перемен. У них была власть и, вероятно, право упразднить старую церковь. Но у них не было ни права, ни власти заставлять совесть людей принимать их замену, независимо от того, хотят они этого или нет. Более того, они не понимали, что новая конституция духовенства была абсолютно противна духу римского католицизма и включала в себя идеи, которые этот дух не мог принять. Они верили, что вся власть и управление должны начинаться с народа, исходить снизу; в соответствии с этим взглядом они и выстроили новую систему своей церкви. Но если и был какой-то принцип, которым Римская церковь дорожила и за который она цеплялась даже сильнее, чем за свои догмы, с тех пор как утвердила свое господство в Европе, то это был принцип, согласно которому вся власть в Церкви исходила сверху. Для каждого правоверного католика Папа обладал духовной властью, полученной с Небес; без согласия Папы никакая доля этой духовной власти не могла перейти к епископу или священнику; и без такой санкции и власти свыше ни один человек, какая бы гражданская сила ни стояла за ним, не мог с Божьего одобрения совершать богослужения и таинства Церкви. Подобные убеждения, основанные на совести и закрепившиеся в вековой привычке, не могли быть искоренены никакими декретами. Даже если бы Собрание заручилось согласием Папы, сомнительно, чтобы его план был окончательно принят в стране. Вместо этого она не предприняла никаких шагов для примирения с папой, но демонстративно держалась в стороне от Рима и различными провокационными мерами демонстрировала свое намерение поставить папский авторитет под сомнение.

Последствия были незамедлительными и катастрофическими. Духовенство в целом боролось с новой схемой на каждом этапе. Ассамблея, осознав силу их сопротивления, попыталась преодолеть его, заставив всех принести клятву соблюдать новую гражданскую конституцию. Когда духовенство затягивало и отказывалось, Собрание вынуждено было прибегнуть к более жестким мерам, и в конце 1790 года, вынужденное либо отказаться от своей позиции, либо занять более агрессивную позицию, оно потребовало от короля согласия на декрет, принуждающий к его соблюдению под страхом увольнения и судебного преследования. С этого момента Революция объявила войну Церкви и всем благочестивым католикам, принявшим дело своих пасторов. С этого времени король, хотя и уступил давлению Ассамблеи, потерял всякую надежду примириться с принципами Революции. С этого времени Церковь во Франции разделилась на два лагеря: один состоял из тех, кто принес присягу и принял новую систему, и включал, среди немногих прелатов и большого числа лишенных сана монахов, возможно, половину старого духовенства Франции, другой -

из тех, кто отказался от нее, и включал почти всех прелатов, все самые выдающиеся имена и большую часть светского духовенства древней Церкви. На одной стороне были санкции закона, поддержка государства и помощь всех новых гражданских властей. На другой стороне были веления Папы, симпатии подавляющего большинства благочестивых католиков, и сила, полученная от добросовестного противостояния суровости и гонениям. Обе стороны неизбежно имели своих сторонников во многих городах и деревнях Франции; и ярость религиозных пристрастий вскоре привела на юге и западе к беспорядкам, восстаниям и гражданской войне, еще более усугубила разногласия и усугубила общую неразбериху, которая сопровождала усилия Ассамблеи по реформированию и возрождению Франции.

С нападками на Церковь был тесно связан неудобный финансовый вопрос. Ни один человек, началом революции, не пользовался столь высокой репутацией финансиста, как Неккер, и ни один человек, вероятно, не злоупотреблял этой репутацией в большей степени. Все знали, что финансовые затруднения страны были истинной причиной созыва Генеральных штатов. Все знали, что, во-первых, существует огромный ежегодный дефицит, составляющий по меньшей мере 120 или 130 миллионов франков, а в 1789 году он достиг гораздо большей цифры, и, во-вторых, очень большой плавающий долг. Естественным и единственно разумным было бы, если бы министр сразу же обнажил все трудности государства и воспользовался своей огромной популярностью и авторитетом, чтобы смело встретить трудности и поставить дела на удовлетворительную основу для будущего. Вместо этого Неккер, либо по ошибочным политическим причинам, либо по более личным и менее достойным причинам, с самого начала преуменьшил финансовые трудности, представил дефицит гораздо меньшим, чем он был, назвал работу по наведению порядка в финансах "просто детской игрой" и скрыл худшие черты ситуации от общественности, к которой он обращался за поддержкой. Финансовая система Неккера заключалась в привлечении займов на выгодных условиях - система, для которой его финансовая репутация и связи давали ему особые возможности. Летом 1789 года он продолжал придерживаться этой системы, и государство некоторое время жило на деньги, которые Неккер собирал в кредит или занимал у Caisse d'Escompte, и на патриотические взносы, которые восторженные дамы и господа вливали в казначейство. Но к осени даже Неккеру стало ясно, что эта система не будет работать вечно, что кредит государства не улучшается, что займы больше не могут быть привлечены с успехом, и что состояние финансов в целом намного хуже, чем пять месяцев назад. Тогда, в конце сентября, Неккер выступил с героическим средством, и благодаря поддержке Мирабо он убедил Ассамблею согласиться на чрезвычайный налог в размере четверти всех доходов в стране, который должен быть выплачен в течение следующих трех лет.

Но и эта радикальная мера не помогла. Способ исчисления налога и время, на которое был растянут срок уплаты, способствовали срыву его результатов. Затруднения государства увеличивались. Долг неуклонно рос, так как после начала революции люди со всех сторон отказывались платить налоги, и правительство было вынуждено использовать для текущих целей любые деньги, которые попадались под руку. Кроме того, чрезвычайные расходы этого года, вызванные обстоятельствами Революции, были исключительно велики, а расходы на поддержание спокойствия в Париже - еще тяжелее. Только за два месяца зимы 1789-90 годов государство выплатило парижским властям семнадцать миллионов франков на закупку кукурузы, и, по оценкам, в последующий год оно выдало различным муниципалитетам в департаментах не менее шестнадцатисот миллионов, чтобы удешевить хлеб. Кроме того, вскоре парижские власти - а Париж редко получал отказ - потребовали от него еще много миллионов на поддержание работ по оказанию помощи безработным рабочим столицы, на

содержание и оснащение национальной гвардии, на покрытие расходов по разрушению Бастилии и даже на освещение и мощение улиц. В этих условиях ситуация постоянно ухудшалась, и Мирабо вернулся к идее присвоить имущество церкви и использовать полученные таким образом кредиты и ресурсы для выпуска бумажных денег, чтобы расплатиться с насущными кредиторами государства. Таким образом он надеялся получить передышку, пока не будет сформировано сильное правительство, способное основательно подойти к решению всего вопроса. Идея, возникнув, вскоре была воплощена в жизнь. В начале ноября 1789 года Ассамблея объявила, что земли и имущество церкви находятся в распоряжении государства. В декабре она распорядилась продать часть этого имущества на сумму четыреста миллионов франков в интересах государства. В марте следующего года, поскольку земля быстро не продавалась, было решено передать ее различным муниципалитетам, чтобы они продали ее с выгодой для себя, а тем временем выпустить бумажные деньги, также на сумму в четыреста миллионов, для увеличения валюты и в качестве банкнот. Таким образом, в апреле 1790 года появились ассигнаты.

Стоит немного проследить историю Ассигнатов, поскольку впоследствии они стали одной из самых характерных и катастрофических черт революционных финансов. По замыслу их авторов, ассигнаты должны были стать временным удобством, позволяющим преодолеть множество насущных трудностей, пока государство не найдет время для решения вопроса о своих финансах. В этой идее, если бы она неукоснительно соблюдалась, не было ничего плохого с экономической точки зрения. Но с самого начала план оказался неудачным. Продажа церковных земель принесла сравнительно небольшой доход. Муниципалитеты, естественно, в первую очередь учитывали свои интересы и не всегда продавали земли наиболее выгодным для государства способом. Они разрешали покупателю вступить во владение землей при уплате очень небольшой части цены; и во многих случаях спекулянты, пользуясь этой системой, покупали церковные земли в большом количестве, затем вырубали на них лес и сносили дома, а получив возможную прибыль, исчезали до наступления срока выплаты второго взноса. При существующем положении дел в администрации было несложно обмануть закон. Более того, покупателям этих земель было разрешено платить за них ассигнациями - предполагалось, что таким образом все выпущенные бумажные деньги вернутся в казначейство и выйдут из обращения по мере распродажи церковных земель. Однако тот факт, что ассигнаты принимались муниципалитетами по их номинальной стоимости, побудил спекулянтов обесценить их, и таким образом с самого начала возник мощный мотив для обесценивания новой валюты. В результате уже через несколько месяцев после первой эмиссии ассигнатов затруднения государства стали как никогда острыми. Уже выпущенные ассигнаты были израсходованы, и Собрание, как никогда далекое от финансового порядка, могло лишь предлагать выпустить еще. Тогда Мирабо, понимая опасность своего курса, но все еще пытаясь предотвратить банкротство и надеясь на смену министерства, которое в конечном итоге могло бы поправить дела, снова бросил свое влияние на те же чаши весов. В сентябре 1790 года он побудил Собрание санкционировать окончательную эмиссию еще восьмисот миллионов в счет погашения национального долга, принять закон о том, что более двенадцатисот миллионов никогда не будут пущены в обращение, и постановить, что все ассигнаты, внесенные в казначейство, впредь должны сжигаться.

Но как только Ассамблея начала движение вниз, остановиться было уже невозможно. Сильное правительство и финансовая реорганизация, на которые надеялся Мирабо, так и не наступили. Восемьсот миллионов ушли, как до них ушли четыреста миллионов, и все еще не было никакой перспективы, что долг когда-нибудь будет погашен или что когда-нибудь будет установлен баланс между доходами и расходами государства. Снова и снова правительство

приходило к выводу, что оно должно либо столкнуться с банкротством, либо на время преодолеть свои трудности за счет новых выпусков бумажных денег, и снова и снова, когда приходилось сталкиваться с альтернативой, оно, естественно, выбирало последний путь. К июню 1791 года эмиссия предыдущего сентября была исчерпана, и, бросив на ветер свои собственные благоразумные ограничения, Ассамблея выпустила еще шестьсот миллионов. С этого момента обесценивание бумажных денег неуклонно и быстро прогрессировало. Казначейство, отступив от первоначального предложения, уже начало выпускать ассигнаты совсем небольшой стоимости. Бумажные деньги вскоре стали обычной валютой, в которой выплачивалась заработная плата; и даже беднейшие слои населения научились ощущать последствия их колебаний и извлекать из этих колебаний ту прибыль, которую могли. С обесцениванием ассигнатов и исчезновением спекуляций ярость к спекуляциям, естественно стимулируемая быстротой политических перемен, овладела общественным сознанием, и дух азартных игр усилил во всех классах волнения и лихорадку того времени.

Собрание, правда, в конце концов попыталось разобраться со всем финансовым положением и, во всяком случае, установить текущие финансы на твердую и постоянную основу. Но способ, которым она предприняла эту попытку, был достаточным для того, чтобы гарантировать ее неудачу. Расходы на революцию неизбежно были очень велики. Ассамблея, несомненно, сократила расходы на суд, армию и церковь; но в то же время она взяла на себя новое и очень тяжелое бремя. Расходы на новую систему местного самоуправления и новую систему отправления правосудия значительно увеличили ежегодные расходы. Одни только расходы на выплату компенсаций подавленным служителям закона, церкви и государственных служб, на выплату пенсий лишенным собственности церковникам и на выкуп бесчисленных корыстных интересов, по которым нанесли удар реформы Ассамблеи, составили огромную сумму. Кроме того, необходимо было покрыть все долги Старого режима, а также дефицит по текущим счетам, который неуклонно накапливался месяц за месяцем вплоть до конца 1790 года. Имущество Церкви, которое поначалу рассматривалось как неисчерпаемое сокровище и оценивалось гораздо выше его реальной стоимости, разочаровало ожидания новых владельцев, когда они увидели, как оно растрачивается на выпуск ассигнаний. Отмена десятины, хотя и стала большим благом для владельцев земли, ничуть не обогатила казначейство. Отмена феодальных повинностей, хотя и была тяжелой потерей для их прежних владельцев и бесконечным выигрышем для всего народа, ничего не принесла в казну государства. Отмена ненавистного *Gabelle* и многих других косвенных налогов, которые народ больше не хотел платить и которые Ассамблея, исходя из необходимости, отменила, лишила государство одного крупного источника доходов. Оставалось найти средства для восполнения дефицита и покрытия расходов, которые наложила Революция.

Именно в шагах, предпринятых для того, чтобы сбалансировать счета нации, пожалуй, наиболее отчетливо виден пагубный оптимизм Ассамблеи и ее укоренившееся и повинное нежелание смотреть в лицо неприятным фактам. Не было сомнений в том, что революция обошлась чрезвычайно дорого. Ее преимущества, реформы, которые она ввела, и возможности достижения процветания, которые она открыла французам, были очевидны и ясны. Столь же очевидно, что эти преимущества и реформы должны были повлечь за собой значительные расходы и должны были быть оплачены теми, кто ими пользовался. Однако вместо того, чтобы занять эту позицию, как это было необходимо по долгу службы, Собрание, похоже, решило, что, какими бы ни были потребности и трудности, оно так составит свой бюджет, что никто не сможет сказать, что Революция увеличила налогообложение народа.

Соответственно, оно приступило к составлению списка своих расходов, который от начала до конца был ошибочным. Финансисты Собрания установили количество голосов для каждого департамента на уровне, который не мог покрыть расходы, и определили общую сумму расходов на много миллионов ниже реальной стоимости. Затем они приступили к подсчету доходов, переоценив каждую статью здесь, как они недооценили каждую статью на другой стороне. Они включили в доход две или три крупные статьи чисто временного и исключительного характера. Они не учли чрезвычайных расходов, которые уже оценили в семьдесят шесть миллионов франков. Они принесли в жертву демократическим чувствам многие из тех косвенных налогов, которые всегда вызывают недовольство демократии, - налоги на соль, табак, вино и спиртные напитки, а также другие товары меньшей важности. Они переделали всю систему внутренних тарифов и избавились от ее неприятных черт. Они сделали несколько шагов в направлении свободной торговли, отменили гильдии и ограничения на труд. Но они ни в коем случае не отказались полностью от защитной системы и сохранили все косвенные налоги, которые ускользнули от внимания и против которых не поднималось народное возмущение. О подавляющем влиянии Парижа на работу Ассамблеи свидетельствует тот факт, что октруа города Парижа остался неизменным и нетронутым, несмотря на общие нападки на систему косвенного налогообложения. Причина заключалась в том, что парижский муниципалитет не мог позволить себе отказаться от этих пошлин, а Ассамблея не осмеливалась отменить то, что парижский муниципалитет хотел сохранить. Только после того, как рабочие классы Парижа вынудили муниципалитет предложить отмену налога, парижские октрои были отменены.

Потеряв таким образом значительную часть доходов, полученных от косвенного налогообложения, Собрание принялось восполнять дефицит путем введения двух прямых налогов: налога на избирателей, который был незначительным и легким, и налога на землю, который был непомерно тяжелым. Бремя нового земельного налога само по себе было непропорциональным и, вероятно, несправедливым; оно усугублялось порочной системой оценок; а невежество новых гражданских властей, которым было поручено начисление и сбор налогов, еще больше подрывало ожидания Казначейства. По мере усиления политической лихорадки система налогообложения превратилась в двигатель, с помощью которого партия, стоящая у власти в какой-либо местности, могла раздражать и угнетать своих политических противников; и нет сомнений, что во многих случаях она приводила к предвзятости и неправоте. В таком результате виноваты скорее обстоятельства времени, чем финансисты Ассамблеи. Но Ассамблея не может избежать порицания за слабость и неразумие, которые она проявила, за отказ ясно осознать обязательства, которые она взяла на себя, за ее решимость демонстрировать экономию, какой бы иллюзорной она ни оказалась, и за моральную трусость, которая заставила ее закрыть глаза на факты, влекущие за собой непопулярность для тех, кто с ними столкнулся. Его попытки погасить или уменьшить государственный долг с помощью займов, конфискации и выпуска бумажных денег потерпели полный крах. Попытка сбалансировать поступления и расходы на будущее гарантировала столь же полный провал, судя по тому, как она была предпринята. Даже если бы новые налоги регулярно выплачивались - а они никогда не выплачивались, - политика Ассамблеи могла привести лишь к еще большему увеличению долга, вынудить правительство прибегнуть к новым выпускам ассигнаций или к другим столь же отчаянным мерам и уничтожить национальный кредит. Несомненно, следует сделать многочисленные и значительные поправки на трудности Национального собрания, на его неизбежную неопытность и на его в целом прекрасные намерения. Но все же судить о членах Ассамблеи следует как о практических реформаторах; и результаты их деятельности, хотя во многих отношениях и заслуживают сочувствия и похвалы, все же далеко не всегда подтверждают максимум, что высокопарные теории и филантропические цели в конце концов лишь пыль на

весах по сравнению со многими трезвыми качествами мудрости, необходимыми для эффективного управления государством.

СНОСКИ:

[6] Разные авторитеты приводят разные цифры. Но эти цифры кажутся наиболее верными.

ГЛАВА V.

Партии и политики при Учредительном собрании.

Одним из несчастий Учредительного собрания было то, что оно так и не научилось искусству партийного управления. Когда предварительная борьба между общинами и привилегированными сословиями закончилась и три сословия были окончательно объединены в одной палате, Собрание распалось на множество различных групп; и хотя эти группы со временем оформились в партии, они настолько сохранили свою независимость, что редко можно было сказать по какому-либо вопросу, на чьей стороне будет большинство, или какие группы и политики могут объединиться или не объединиться. Поначалу различали только тех, кто выступал против революции, и тех, кто был ее сторонником. Однако постепенно, по мере того как друзья нового движения незаметно разделялись, представители дворянства и высшего духовенства, с самого начала считавшие политику короля опасной, были усилены более мудрыми политиками и превратились в респектабельную партию, занимавшую скамьи справа. Одна часть этой партии - крайняя секция - была, правда, лишь шумной и мешающей фракцией, с реакционными взглядами и интересами, в основном эгоистическими, которая, как это свойственно классовым политикам, проявляла себя частыми резкими высказываниями и поведением, не отличавшимся ни организованностью, ни воспитанностью. Среди их лидеров были известный адвокат д'Эпремесниль, который, будучи одним из героев Парижского парламента, пользовался в 1788 году удивительной, но короткой популярностью, и виконт де Мирабо, заметный, но слишком общительный брат великого государственного деятеля, руководившего общинами. Более важную часть партии составляла фаланга церковных сановников, которые следовали за архиепископами Руана и Экса. По мере того как наступление на церковь продолжалось, эти прелаты привлекли за собой большое количество низшего духовенства, чьи симпатии поначалу склонялись на сторону народных масс. Но самыми заметными фигурами на скамьях правых были два человека, чьи замечательные способности становились все более известными с течением времени: Мори, разносторонний, остроумный, беспутный церковник, который благодаря своей редкой способности вести дебаты занял первое место среди лидеров своей партии, и Казалес (Cazalés), ленивый, неамбициозный солдат, чья ясная голова позволяла ему, как и Мори, понять, что старый порядок никогда не может быть полностью заменен, но который посвящал свои великие ораторские способности, когда недостаток энергии позволял ему использовать их, защите монархии и осуждению самовластия.

Поначалу правые политики, хотя некоторые из них были явно более либерально настроены, чем другие, состояли в основном из людей, привязанных к привилегиям на основании интересов и совершенно не сочувствовавших реформаторскому духу. Но события развивались быстро, и вскоре правые были усилены группой депутатов более высокого уровня, которые приветствовали реформаторское движение, но которых меры Ассамблеи

после июля 1789 года постепенно подтолкнули к объединению с врагами перемен. Среди членов этой группы было несколько дворян либеральных взглядов, горячо сочувствовавших конституционной реформе - граф де Клермон-Тоннерр, граф де Лалли-Толлендаль, чья романтическая история и щедрое красноречие не раз, в первые дни революции, Герцог де Рошфуко-Лянкур, друг Тюрго и Артура Юнга, и самый лучший тип, который можно было бы представить в те дни, Великого сеньора, который мог бы быть, но редко был таковым в эпоху Древнего Режима. Настоящими лидерами этой группы в Ассамблее были два видных члена Тирс-Этат, Мунье и Малуэ. Ни один из депутатов Общины не прибыл в Версаль с более высокой репутацией, чем эти два человека. Мунье был главой и руководителем движения в Дофине в 1788 году, которое привело к знаменитой Ассамблее Визия и которое как ничто другое способствовало созыву Генеральных штатов. Когда Мунье прибыл в Версаль, многие ожидали, что он станет признанным лидером общин. Малуэ также получил большую известность в Оверни во время выборов. Его слава также предшествовала его приезду в Версаль и наделила его будущей известностью. Эти люди не были любителями Старого режима, не были любителями привилегий или несправедливых отличий. Многие из них изучали английскую политику и с большим восхищением относились к английской конституции. Они хотели, чтобы во Франции было создано нечто подобное. Они надеялись на парламент из двух палат и на государство, которое будет использовать и трудоустраивать свой легитимированный класс. Один из них, Малуэ, имел значительный опыт ведения дел как дома, так и в колониях. Все они прекрасно понимали целесообразность осторожных действий, мудрость, когда это возможно, следования прецедентам, насущную необходимость обеспечения и поддержания порядка. Но, возможно, некоторым из них не хватало силы, и, кажется, Мунье особенно не хватало самообладания и проницательности, необходимых для лидера. Ведь когда в октябре 1789 года вокруг них накопились трудности, некоторые из них пали духом и потеряли самообладание, сложили с себя полномочия и отказались от борьбы. Они сравнительно мало симпатизировали расплывчатым философским и демократическим теориям, которыми восторгалось большинство их коллег. Они не испытывали никакого сочувствия к колебаниям Ассамблеи по поводу создания сильной исполнительной власти, к ее страсти к равенству, к ее подозрительному страху перед королями, министрами и вельможами. Изучая их взгляды сегодня, в спокойном свете нашей системы, трудно отказать этой группе людей в похвале, которая причитается великому просвещению и умеренности; но нетрудно понять, как в те бурные времена, когда прецедент и опыт ничего не значили, их серьезные и взвешенные советы остались без внимания, и как, опередив темп Революции, они вернулись в ряды партии реакции.

Напротив правых политиков сидела основная масса депутатов Общин, среди которых было несколько дворян и много духовенства. Эта партия с ее многочисленными группами и интересами была, в общем, партией реформ, партией, которая совершила революцию, которая воплотила в себе ее добродетели, ее доктрины, ее глупости, ее недостатки и на которой лежит ответственность за политику Учредительного собрания. В рядах этой большой, разнородной партии можно было встретить большинство известных имен раннего периода Революции. Среди них был Бейли, культурный и выдающийся ученый, с его высоким характером, мягким поведением, убежденным оптимизмом, нежным сердцем, простительным тщеславием и очевидной ограниченностью, возможно, лучший тип филантропов-энтузиастов, которые с пылом приняли народное дело. В течение нескольких месяцев Бейли играл заметную и почетную роль. Он удостоился высокой чести быть назначенным последовательно первым председателем Национального собрания и первым мэром Парижа; а затем, потеряв сердце и репутацию среди неловкостей великого поста, которого он не искал, он познал непостоянство народной благосклонности и был принесен в жертву негодованию народа. Среди них был и Съез, демократический священник,

спокойный логик, счастливейший составитель фраз в нации счастливых составителей фраз, самый быстрый из всех, кто составлял отчеты, принимал резолюции, разрабатывал планы, невозмутимый строитель конституций, которые никогда не выдерживали, возвышенный в уверенности своих теорий и важный благодаря влиянию, которое приобрели его холодная голова и готовый язык. Среди них был Талейран, епископ Осенний, единственный выдающийся церковник того времени, принявший участие в нападении на церковь, остроумный, гибкий, беспутный, необычайно способный и уже начавший проявлять редкую ловкость в понимании людей и в перераспределении своих способностей в пользу победителя, что впоследствии сделало его самым влиятельным субъектом в Европе. Среди них были Лафайет, который вскоре обнаружил в великом посту, предоставленном ему парижанами, более широкое поле для своих неугомонных амбиций, чем он мог бы получить в парламентской тактике, и Мирабо, лидер ни одной из групп, но центр всеобщего внимания, величайший государственный деятель и оратор современной Франции. Среди них были выдающиеся юристы Тарент и Туре, уступавшие только Съезу по влиянию, которое они оказали на форму новой конституции, а также Ланжуайне и Тронше и многие другие знаменитые адвокаты и юристы. Среди них были Камю, серьезный и решительный лидер янсенистов, которых метко называли пуританами римско-католической церкви во Франции; Рабо де Сент-Этьенн, лидер движения "За свободу". Этьенн, лидер протестантов, смелый, высокодуховный человек, который еще до революции добился от короля признания прав своих единоверцев на гражданство; Дом Герле, необычный монах-якобинец, чья серьезность была сильнее разума; Грегуар, красноречивый священник, с его прекрасной мечтой об очищенной национальной церкви, один из лучших среди многих энтузиастов, которые внесли свои высокодуховные ошибки в дело национальной реформы. Среди них был и Гарат, искусный профессор истории, чьи легкомысленные и возбудимые убеждения всегда шли в ногу с течением времени, и который, несмотря на свои прекрасные намерения, был, возможно, больше, чем кто-либо другой, ответственен за гибель блестящей партии, с которой он стал ассоциироваться в более позднее время. Среди них, наконец, был и удачливый Барер, по очереди адвокат, журналист и политик, в начале необыкновенной карьеры, в которой, благодаря тому, что он никогда не придерживался определенных взглядов, ему предстояло подняться до самого высокого места во Франции.

Но самой примечательной и в целом самой влиятельной из множества различных групп в партии Реформации была та, которая следовала за Дюпором, Барнавом и Ламетом. Эти люди образовали тесный триумвират политических союзников. Они собрали вокруг себя ядро мощной партии и в целом контролировали политику левых. В лице Дюпора эта группа имела организатора партии с эластичными принципами, но значительным тактом и способностями; в лице Барнава - оратора, уступавшего по своим способностям очень немногим людям в истории Революции; в лице графа Шарля де Ламета - одного из самых популярных и одаренных молодых дворян-либералов. Возглавляемый триумвиратом и управляемый Дюпором, он привлек к себе многих блестящих, хорошо воспитанных и честлюбивых радикалов, включая графа Александра де Ламета, герцога д'Эгийона и виконта де Ноайля, и получил большинство, которое во многих случаях решало политику Собрания.

Наконец, кроме подавляющего большинства левых депутатов, в Собрании заседала небольшая группа крайних политиков, которой суждено было стать очень известной партией. Это были демократы язвительного и бескомпромиссного типа. Они часто были жестоки в своих речах, крайне догматичны в своих взглядах, презрительно относились к опыту и фактам, болезненно ревновали к правительству и власти. Но они неустанно,

невзирая на мнение Собрания, выдвигали доктрины теоретической демократии, в которые страстно верили, и неуклонно завоевывали расположение толпы, которая, мало заботясь об их догматических заблуждениях, ценила их настоящую преданность своему делу. Среди ораторов этой замечательной группы Собрание постепенно научилось прислушиваться к натянутой, бесконечной риторике Робеспьера и признавать растущее значение Петiona, Мерлена, Ревбея, Вадье и Бузо.

Если народная партия была сильнее в Собрании, то она была бесконечно сильнее за его пределами. Политики галерей, кафе, районных собраний Парижа - в частности, района Кордельеров, где известный адвокат Дантон уже создавал себе огромную репутацию, - начали оказывать на ход событий влияние, которое росло с каждым днем. Политики улиц и элементы беспорядков были в основном на стороне демократов, и в результате видные представители правых неоднократно подвергались оскорблениям и преследованиям, что делало их жизнь небезопасной и почти невыносимой. Некоторые из них неразумно отвечали вызовом своих противников на дуэль, а участвовавшие политические поединки не раз приводили к вспышкам волнений. В вопросе политических клубов также было заметно превосходство народной партии. Маленькая группа бретонских депутатов, которая в Версале превратилась в клуб передовых реформаторов, еще больше расширилась, когда ее члены приехали в Париж. Она поселилась в библиотеке старого якобинского монастыря на улице Сент-Оноре. Она открыла свои двери для всех ярых сторонников Революции, независимо от того, были они членами Ассамблеи или нет. Он стал штаб-квартирой тех левых, которые последовали примеру Дюпора и Барнава, а вскоре и тех более жестких политиков, которые признали лидерство Робеспьера и Петiona. Умеренные правые некоторое время поддерживали "Клуб импартии", который впоследствии стал "Монархическим клубом", а более умеренные левые, среди которых были Мирабо, Лафайет, Талейран и Бейли, основали в мае 1790 года "Клуб 1789 года", чтобы уравновесить влияние якобинцев. Но ни одно из этих предприятий не смогло сформировать прочную политическую связь, и преимущества продуманной организации остались в распоряжении одних лишь якобинцев.

Однако преобладание передовых политиков было наиболее заметно в прессе. Французская революция - это эпоха, которая знаменует собой приход прессы к власти, как главной силы в управлении государствами. Вплоть до нескольких лет после революции французские читатели довольствовались той информацией, которую они могли почерпнуть из старинной *Gazette de France*, издававшейся со времен Ришелье, или из высокочтимого *Mercure*, главного журнала времен Людовика XIV. Первая ежедневная газета, издававшаяся во Франции, - *Journal de Paris* - датируется 1777 годом и представляла собой всего лишь неприятный листок, наполненный литературными и новостными материалами. Но с 1780 года начался новый период активности. Предприимчивые издатели, такие как Панкук и Прюдомм, обнаружили, что их возможности внезапно возросли. Блестящие писатели, такие как Лингет, Бриссо и Малле дю Пан, публикуя свои мнения, преодолевая многочисленные трудности, в Лондоне, Брюсселе, Женеве и Париже, начали заявлять о себе в эфемерной литературе. По мере приближения Революции появился целый поток памфлетов и газет. Вольней в Бретани пробудил демократический энтузиазм своей провинции смелыми доктринами "*Стражей народа*". Панкук, уже владевший "*Меркюр*" и "*Газетт де Франс*", планировал издание "*Монитеура*". Прюдомм, еще более уверовавший в демократические принципы, за два дня до взятия Бастилии выпустил первый номер "*Революции в Париже*".

Но с заседанием Генеральных штатов началась настоящая слава журналистики, и самый видный член Собрания первым воззвал к независимым суждениям прессы против политики двора. 2 мая Мирабо выпустил первый номер "*Journal des Etats-Généraux*", а когда его резкая

критика Неккера вызвала у правительства требование уничтожить газету, он занял ее место серией *писем* к своим избирателям, которая после взятия Бастилии приобрела форму регулярного журнала и название "*Courrier de Provence*". Цель Мирабо заключалась в том, чтобы информировать своих избирателей о деятельности и политике Собрания и при этом пропагандировать собственные взгляды. Газета "*Курье де Прованс*", которую он перестал редактировать, но в которую продолжал вносить свой вклад до конца жизни, часто поднималась выше хроники событий на очень высокий уровень политических дискуссий и сохраняла огромное значение как главный выразитель его взглядов. Примеру Мирабо вскоре последовал один из его коллег. В середине июня Барер начал свою журналистскую карьеру с издания "*Point du Jour*", ежедневного журнала, поначалу умеренного по тону и примечательного главным образом своими отчетами о заседаниях Собрания. Освещение дебатов быстро превратилось в отдельную отрасль журналистики. Из нее возник журнал *Journal des Débats*, который существует до сих пор. А самым известным репортером того времени, автором с начала 1790 года знаменитых отчетов в *Moniteur*, был молодой Марет, которого странный опыт впоследствии сделал герцогом де Бассано и руководителем внешней политики Франции.

За пределами Национального собрания находились четыре журналиста демократической ориентации, чьи публикации, наряду со многими другими газетами, названия которых не могут быть приведены здесь, пользовались заметной популярностью, и троим из них суждено было в скором времени сыграть заметную роль в качестве политиков. Бриссо, когда-то работавший вместе с Робеспьером в адвокатской конторе, в ходе необычной карьеры, в которой его личный характер не избежал упреков, приобрел репутацию памфлетиста передовых и космополитических взглядов. Летом 1789 года он стал редактором "*Патриот Франсез*" и сделал эту газету органом тех теоретических и филантропических настроений, которые жирондисты впоследствии объединили с передовыми республиканскими взглядами. Другой известный журналист, Лусталло, самый молодой и самый яркий из демократических писателей, стал до своей смерти в сентябре 1790 года главным автором "*Парижской революции*", а его горячий энтузиазм, его большие способности, его смелые и волнующие фразы, иногда переходящие в насилие, его тонкая, эмоциональная, плохо управляемая вера в величие свободы и в добродетель народа обеспечили газете, с которой он был связан, удивительный тираж и успех. Рядом с Лусталло в рядах журналистов стоит фигура не менее привлекательная, но предназначенная для большей части. Камиль Десмулен был одним из многих молодых адвокатов, которые в самом начале революции отказались от мечтаний о литературе и политике в пользу бесплодных реалий юриспруденции, а в обмен на сомнительную жертву неожиданно обрели власть в государстве. Прославившись 12 июля своей памятной речью в Пале-Рояле, Камиль Десмулен решил посвятить журналистике веселье, легкость, насмешливое красноречие и небрежное остроумие, которые скрывали его необдуманные взгляды и искреннюю любовь к свободе, и осенью 1789 года выпустил "*Революцию Франции и Брабанта*". Наконец, в сентябре 1789 года появился первый номер газеты под названием "*Ami du Peuple*", которая вскоре должна была приобрести зловещую славу и которая, благодаря жестокости своего языка и дикому, подозрительному негодованию своего тона, более правдиво, чем любой другой журнал, отражала нравы, страхи, горечь и страсти, одушевлявшие самый невежественный и нищий класс.

Марат, редактор этой знаменитой газеты, уже сделал замечательную карьеру, и его восхождение в Революции - одно из явлений того времени. С детства он отличался болезненно-нервным и чувствительным характером, острым умом и бдительностью, стремился к знаниям и быстро их приобретал, увлекался наукой и в то же время был предан

спекулятивным исследованиям, обладал необычайной верой в свои силы и ревнивым недоверием к способностям других, твердо отстаивал свои взгляды и безудержно нападал на тех, кто отличался от него. Вероятно, в более позднем возрасте его конституциональная, болезненная раздражительность ослабила его разум, но нет оснований отрицать, что его способности были действительно значительными, хотя они часто ослабевали из-за извращенного своеобразия взглядов. В начале жизни Марат приобрел репутацию врача и ученого, несколько лет он прожил в Англии, где, по-видимому, одно время имел практику в Сохо. Его труды на всевозможные темы принесли ему широкую известность, и он отличился, нападая на Ньютона и Локка, а также вступая в полемику с Гельвецием и Вольтером. От науки и философии Марат погрузился в политику. Он связался с некоторыми народными обществами в Англии, которые в то время активно выступали за реформы, а его демократические взгляды заставили его остро ощутить недостатки английской парламентской системы в XVIII веке. Вернувшись во Францию, он получил назначение в учреждение графа д'Артуа и приобрел некоторый опыт жизни при дворе. Его научная деятельность продолжала приносить ему известность, но, похоже, его взгляды или, скорее, манера их выражать сделали его непопулярным в своей профессии, а холодность, с которой к нему относились, еще больше озлобила его раздражительную натуру. Приближение революции наконец-то дало ему возможность проявить преданность демократическим идеалам, которая была, возможно, самой искренней страстью его ума; И его настоящая любовь к тому, что он считал свободой, его постоянное внимание к нуждам и страданиям народа, его бесстрашные нападки на сильных и великих, его ревнивая ненависть к превосходству, будь то богатство, мудрость или положение, нашли отклик в сердцах бедняков и завоевали для Марата восторженную привязанность тысяч людей, которые могли чувствовать панику и голод, хотя и не могли думать. С самого начала *Ami du Peuple* проповедовала доктрину подозрительности. Она нападала, часто с безрассудными и жестокими пасквилями, на всех, кто находился у власти. Она не жалела инвектив. Она не стеснялась никакой клеветы. Она постоянно призывала народ к действию, постоянно предупреждала его, чтобы он остерегался предателей в суде, в армии, в собрании и в клубах. Она требовала для себя максимальной свободы действий и смело перекладывала на тех, кого обличала, бремя доказывания их невиновности перед народом. Тщетно власти пытались ее сдержать и угрожали ее редактору судебным преследованием и наказанием. Напрасно Лафайет прилагал все усилия, чтобы подавить бесстрашного защитника нуждающихся, бесстрашного служителя смуты и злобы. Преследования только усилили горечь предостережений Марата и еще больше укрепили его позиции среди тех, кто наполовину верил в их истинность.

Но если демократическая пресса требовала для себя наибольших поблажек, то люди, принимавшие ее учение, не допускали никаких поблажек для своих противников. От реакционной прессы им было нечего опасаться. Три газеты, имевшие определенное значение, субсидировались двором: "*Actes des Apôtres*", "*Ami du Roi*" и "*Journal général de la Cour et de la Ville*", известный в народе как "*Petit Gautier*". Но ни одно из этих изданий не отличалось реальными литературными или политическими достоинствами, и в большинстве своем их авторы, среди которых виконт де Мирабо - несправедливый тип, довольствовались насмешками и непристойностями, остроумными персоналиями или вульгарными оскорблениями. Только один журнал первого ранга, "*Меркюр*", продолжал бороться с непопулярностью, стойко защищая свободу и порядок, и под руководством Малле дю Пана поддерживал красноречием и стойкой умеренностью взгляды, которые Малуэ тщетно пытался рекомендовать Собранию. Но снова и снова самозванные критики, депутаты от Пале-Рояля, представители толпы и даже представители местных властей осуждали писателя, делали ему замечания и вмешивались в его дела, а также открыто угрожали насилием и

смертью тому, кто осмеливался использовать свободу печати для защиты непопулярных, хотя и либеральных, мнений. В таких условиях, учитывая неорганизованность и неразумность роялистов, а также энергию и энтузиазм, которыми была охвачена народная партия, неудивительно, что сила прессы оказалась почти полностью на стороне демократии и помогла сделать неотразимыми победивших сторонников революции.

Среди политиков этого раннего периода было несколько человек, чье значение возвышало их над другими, и чье отношение требует особого внимания. Когда Генеральные штаты собрались в Версале, двумя самыми популярными людьми во Франции были, вероятно, Неккер и герцог Орлеанский. Филипп Орлеанский был двоюродным братом короля. Его распушенные принципы и огромное состояние снискали ему славу лидера моды, а неприязнь к Людовику, усиленная скудной благосклонностью к нему двора и стимулированная его собственными амбициями и советами заинтересованных друзей, побудила его встать на сторону народных масс. До начала революции герцог демонстрировал свои либеральные взгляды, принимая заметное участие в оппозиции, которую Парижский парламент оказывал Бриенну. Его деньги оказали огромную услугу в распространении популярных памфлетов. Его звание и политическое положение, которое он занял, обеспечили ему честь тройного избрания в Генеральные штаты. Сады его резиденции в Пале-Рояле, уже открытые герцогом для публики, стали штаб-квартирой революционной партии в Париже. Его агенты, не без его санкции, сознательно поощряли беспорядки в столице и надеялись, сделав положение Людовика несостоятельным, обеспечить своему хозяину высокое политическое положение, а возможно, и титул конституционного короля. Сам герцог, хотя и беспринципный и озорной, был скорее человеком удовольствий, чем искусным политиком, и его влияние было обусловлено не столько его способностями, сколько его положением и состоянием, а также энергией его сторонников. Его богатство и перспективы обеспечили ему услуги Дюпора, одного из самых искусных тактиков в Ассамблее, пока Дюпор не обнаружил, что из такого разочаровавшего его лидера ничего не выйдет. Они заручились его поддержкой развратного, но умного Лаклоса, который оказался самым полезным помощником в Якобинском клубе, и Сент-Уруга, никчемного, драчливого дворянина, который возглавлял все важные беспорядки в Париже в первые годы Революции. Насколько деньги и влияние герцога были использованы для стимулирования паники и мятежа, а также для распространения ложных слухов в столице, точно сказать невозможно. Но несомненно, что его имя сыграло большую роль в бунте, закончившемся взятием Бастилии, и несомненно, что восстание 5 октября было поощрено, если не начато, его агентами, в расчете на то, что жестокость бунтовщиков может расчистить путь Орлеану к трону. Однако в этот раз герцог был превзойден своим бдительным соперником Лафайетом, и вскоре после этого он позволил себе, под влиянием угроз Лафайета, отправиться в вежливое изгнание с миссией в Лондон. Его изгнание и покорность, с которой он ему подчинился, вызвали отвращение у его приверженцев и расшатали его партию; и хотя по возвращении он еще некоторое время оставался влиятельным и опасным врагом для двора и Лафайета благодаря своим ресурсам, возможности герцога действительно закончились, и он постепенно опустился до уровня презрения, которого заслуживал.

Неккер тоже дожил до того, что познал горечь разоблачения. В начале мая 1789 года он был единственным высокопоставленным человеком в правительственных советах, которого считали другом свободы, и в этом качестве он пользовался незаслуженной популярностью. В течение нескольких месяцев эта популярность сохранялась. Его разочаровывающая речь на собрании Генеральных штатов и последовавшая за ней неуверенная политика очень скоро открыли глаза тем, кто с ним соприкасался; но его отставка в июле спасла его репутацию на время и сделала его, вплоть до его возвращения, народным героем. Однако со дня

возвращения его популярность пошла на убыль. Его неудовлетворительная финансовая деятельность и неспособность или нежелание противостоять экономической ситуации быстро разрушили его славу финансиста. Его нерешительные взгляды, его ревность к соперникам, его решимость не допускать Мирабо к власти и косвенная поддержка, которую он в результате оказал катастрофическому декрету от 7 ноября 1789 года, его полное отсутствие государственной мудрости, если государственная мудрость предполагает проницательность и находчивость, и его беспомощность во всех случаях, когда люди обращались к нему за помощью, быстро превратили его в ничтожество. 'М. Неккер, - с горькой правдой сказал Мирабо, - не имеет ни малейшего представления ни о том, чего он хочет, ни о том, что он должен, ни о том, что он в состоянии сделать". В сентябре 1790 года, основательно отдалившись от революционных лидеров, измученный падением своей популярности и капризами Ассамблеи, которую он был бессилён контролировать, Неккер, наконец, оставил свой пост и унес в изгнание ещё одну потерянную репутацию.

Другим политиком, занимавшим высокое положение, но имевшим меньшее значение, был старший брат короля, ме́сье граф де Прованс. С самого начала этот принц был упорным врагом королевы и вел активные интриги против ее влияния и репутации. Выяснить его точные надежды нелегко, поскольку его поведение не всегда было последовательным и ясным; но кажется, что он лелеял идею вытеснить Людовика с трона и со спокойным, осознанным эгоизмом ждал, не представится ли Революции возможность сделать это на его пути. Он не бросился, как Орлеан, с головой в объятия революционной партии, и не стал, как его младший брат граф д'Артуа, во главе реакционных роялистов. Он воздержался от приверженности той или иной стороне и продолжал оказывать большое влияние на умы короля. Его участие в установлении отношений Мирабо с двором, по-видимому, свидетельствует о некоторой степени политической мудрости; но намеревался ли он при этом служить королю или только хотел сохранить интересы короны, которую надеялся обеспечить для себя, сказать невозможно. Интриги и маневры графа де Прованса не должны рассматриваться в том же свете, что и более виновные маневры герцога Орлеанского, и его характер в меньшей степени заслуживает презрения. Но его нельзя считать лояльным или дружественным по отношению к брату, и его позиция наглядно иллюстрирует шаткую изоляцию короля.

Однако два человека, Лафайет и Мирабо, в первые два года Революции превзошли всех конкурентов по влиянию и власти. Из них двоих по фактическому авторитету Лафайет стоял на первом месте, а в середине 1790 года он был, безусловно, самым влиятельным человеком во Франции. Характер Лафайета не был лишен элементов благородства. Он был храбрым и высокопринципиальным человеком, способным на тонкие чувства и энтузиазм, отнюдь не лишенным благородства и чести. Он был сильно привязан к своей собственной идее свободы и считал, что его особая судьба - обеспечить ее для своей страны. Его звание и состояние, широкая известность, которую завоевало его предприимчивое путешествие в Америку, его известные передовые взгляды и, прежде всего, счастливый случай, который сделал его командующим Национальной гвардией Парижа и, таким образом, контролером вооруженных сил Революции, в совокупности подняли его до необычайного положения. Если бы он только знал, как им воспользоваться, Лафайет мог бы стать хозяином судеб Франции. Никогда больше, вплоть до времен Брюмера, такая возможность не выпадала на долю французского политика.

В некоторых отношениях Лафайет - персонаж, к которому трудно быть справедливым. Его возможности были столь велики. Его ограничения были столь очевидны. Его неудача была столь полной. Но возможно, что его неудача склоняет нас к слишком суровому суждению.

Несправедливо осуждать человека за то, что он не смог понять предзнаменование, порицать политика, который не смог справиться с Французской революцией. Если бы Лафайет был худшим человеком, его дела могли бы обстоять лучше, чем они обстояли. Если бы он был менее заметным человеком, его репутация сегодня была бы выше. Он, безусловно, был амбициозен. Он был тщеславен. У него не было широты суждений и кругозора. Он был слишком большим рабом своих собственных формул. Он был слишком готов повторять демократические фразы, не задумываясь о том, применимы они или нет. Он был слишком готов разрушить авторитет короны, превратить министров в марионеток, поощрять необдуманные замыслы Ассамблеи. Он был слишком готов тратить время и силы на завоевание популярности у парижских буржуа. Он был слишком готов одобрять сомнительные политические акты и интриги. У него не хватало государственной мудрости, чтобы понять опасность времени и настоятельную необходимость совместных и продуманных действий. Его чопорная благопристойность не позволила бы ему объединиться с Мирабо даже для достижения общественных целей. Но все же в те времена, когда характер многих государственных деятелей был низким, мотивы Лафайета не были ни подлыми, ни продажными, и на протяжении всей своей долгой карьеры он демонстрировал твердую верность своим честным, пусть и ограниченным идеалам. Непокколебимая последовательность, хотя и является добродетелью слабых людей, часто придает достоинство поведению, и этим достоинством Лафайет обладал. Худшее обвинение, которое можно выдвинуть против него в первые дни революции, - это то, что его политика слишком смешивалась с идеями личного обогащения. С 5 и 6 октября, когда его сомнительное поведение обеспечило ему первую власть в государстве, главной целью Лафайета, похоже, была организация Национальной гвардии, поддержание собственной диктатуры, утверждение преобладания средних классов, с чьими взглядами он был искренне согласен, и пресечение всех попыток двора, Мирабо, толпы или любого другого круга направить политическое движение в русло, которое вывело бы его из-под его контроля.

Но там, где все другие политики потерпели неудачу, один человек, Мирабо, проявил в общей неразберихе высокие способности государственного деятеля. Мирабо принес Генеральным штатам в Версале репутацию человека с большими способностями и еще большими пороками, человека, который в причудах удивительной карьеры почти исчерпал ресурсы политики, литературы и распутства. Он обнаружил, что ему не доверяют ни двор, ни правительство, ни дворянство, ни подавляющее большинство респектабельных людей. В самом Собрании его приняли с ропотом. Но не прошло и месяца, как он завоевал слух Собрания, а после своей великой речи 23 июня 1789 года стал, когда бы он ни решил выступить, его лидером. По мнению Мирабо, первое, что необходимо было сделать во Франции, - это уничтожить деспотизм, парализовавший свободу, честолюбие, мысль, торговлю, промышленность и труд, смести основы привилегий и угнетения, на которых он покоился, и построить на их месте систему, которая должна была предложить свободу всем. Ради этой цели он был готов пойти на любые опасности и, если понадобится, на все риски революции. Но если бы цель была достигнута, он не хотел разрушать больше, чем было необходимо для ее достижения, и стремился провести изменения с минимальными потерями и разрушениями.

Почти единственный в своем поколении, Мирабо заметил то, что упустили его современники. Он, как и они, уловил дух времени. Он, как и они, приветствовал идею реформ. Он, как и они, усвоил доктрины того времени. Он, как и они, проникся страстной ненавистью к тирании и произволу и горячим желанием свободы и справедливости. Но

вместо того, чтобы пролистывать поверхность демократии и забивать свой мозг теориями, которые не могли соответствовать фактам, Мирабо попытался понять новую науку и осознал, что задача государственного деятеля - не рекламировать теории, а применять их. Политика была для него не просто сценой для блуждающих энтузиастов, а делом управления государством, чтобы исправить несправедливость, от которой страдали окружающие его люди, и дать им возможность жить в будущем с удовлетворением и самоуважением. Почти единственный среди своих современников, он подходил к задаче реформы без каких-либо фиксированных предубеждений или систем, а лишь с желанием оценить окружающие его обстоятельства, предвидеть и преодолеть трудности, которые обязательно возникнут, использовать инструменты, которые могут быть необходимы для его цели, независимо от того, нравятся они ему лично или нет, и извлечь из путаницы, в жертву своим собственным пристрастиям, конституцию, которая, гарантируя свободу, должна отвечать желаниям разумных людей. Мирабо упорно отказывался тратить время на разговоры об абстрактном равенстве или созерцание тысячелетий, которые он не в силах продвинуть. У него не было желания свергнуть трон, который французы любили веками, сровнять старый порядок, смести древние традиции страны. Он не жаждал перемен ради них самих. Несправедливые привилегии, кастовые различия, придворная экстравагантность, фанатичная нетерпимость, пристрастное правосудие, личная незащищенность, обременительное налогообложение, ложные экономические законы - все это он был намерен упразднить и обращался к опыту других народов, чтобы тот помог ему создать на их месте работающую систему. Почти в одиночку среди своих современников он преданно пытался выяснить, что нужно Франции и что она может получить наименьшей ценой страданий.

Одним из следствий такого отношения стало то, что Мирабо с самого начала взял на себя инициативу в борьбе со злоупотреблениями старой системы. Другим следствием было то, что, как только он увидел, что Революция бесспорно победила, - а его проницательность позволила ему увидеть это раньше, чем большинство людей узнало об этом, и когда другие умы все еще были поглощены опасениями невозможной реакции, - он посвятил свои силы тому, чтобы придать практическую форму политике реформаторов. Как практичный государственный деятель, он с презрением смотрел на "оргию" 4 августа, на объемистую "Декларацию прав человека" Лафайета и на агитацию в пользу отлагательного вето. Как практический государственный деятель, в октябре 1789 года, когда его противники пытались возложить на него ответственность за поход парижской толпы на Версаль, Мирабо пытался, благодаря своей связи с Ла Марком, блестящим молодым фламандским дворянином, который был одновременно членом Генеральных штатов и преданным другом королевы, побудить правительство признать кризис и принять определенную политику на будущее. Знакомство с Ла Марком открыло для Мирабо канал, по которому его советы могли проникнуть к графу де Провансу, а затем и к королю. Уже в это время его можно встретить призывающим короля удалиться из Парижа в Руан или другой город в глубине страны, где его свободе не будет угрожать опасность, поставить себя во главе партии реформаторов и окружить себя сильным министерством, состоящим из известных и популярных лидеров. Эту цель - создание правительства, достаточно сильного, чтобы действовать энергично, и достаточно популярного, чтобы заручиться поддержкой, - Мирабо не переставал преследовать. Холодность Лафайета, ревнивый эгоизм Неккера и недоверие, которое он лично внушал двору, разрушили его проект, а роковой декрет от 7 ноября на некоторое время уничтожил эту перспективу. Тем не менее Мирабо не отчаивался примирить короля с революцией и заручиться поддержкой конституционной монархии со стороны главных революционных лидеров. Он неоднократно пытался сломить упорную отстраненность Лафайета и склонить его к сотрудничеству в осуществлении своих планов. "Лафайет, - пишет он ему, - мы должны объединиться, я не могу действовать без вас". Напрасно он

предостерегает его от "маленьких людей", которые пытались разлучить их. "У тебя много последователей и агентов, - снова пишет он, - но среди них лишь несколько настоящих друзей и слуг, и ни одного способного. Мы с вами нуждаемся друг в друге. Почему вы отказываетесь действовать вместе со мной? Но на все эти уговоры Лафайет неизменно отвечал тем же леденящим душу отказом, и после июня 1790 года Мирабо оставил попытки завоевать его и довольствовался тем, что следил за генералом и при любой возможности срывал его маневры.

Тем временем в Собрании преобладание Мирабо росло с каждым днем. По всем вопросам, при всех трудностях его обширные знания и практические способности резко контрастировали с капризами его коллег и неизбежно делали его, за исключением тех случаев, когда интриги или теории вели дело против него, лидером палаты. Его выступления по финансовым вопросам показали, что он был самым искусным финансистом, и не раз определял политику Ассамблеи в этом вопросе. В иностранных делах он взял на себя полное руководство политикой Франции и, опираясь на помощь Монморина в министерстве и на свои собственные непревзойденные знания и красноречие в палате, благополучно вел пошатнувшуюся администрацию короля через дипломатические неприятности до самой его смерти. В вопросе о том, кому отдать инициативу в вопросах мира и войны - исполнительной власти или Собранию, Мирабо бесстрашно рисковал своей популярностью, чтобы закрепить за короной эту по сути исполнительную функцию. В вопросах наведения порядка, запрета эмиграции, реорганизации армии и флота, укрепления администрации только Мирабо в высокой степени проявил инстинкт здравого и практичного государственного деятеля; и если бы красноречие, энтузиазм, мужество и понимание смогли заставить его взгляды возобладать, труды Собрания могли бы принять более счастливое направление и иметь более счастливые результаты. Только в одном вопросе, вопросе о церкви, Мирабо не проявил своей заслуженной мудрости. Жестокость его высказываний и советов по этому вопросу заметно контрастирует с его обычной проницательностью, и, возможно, именно она во многом стала причиной ошибок, в которые впала церковная политика Собрания. Не исключено, что его действия, побудившие Палату принять крайние меры в отношении неюродивых священнослужителей, были частью макиавеллистского плана, который он разработал для дискредитации Ассамблеи, подтолкнув ее к безрассудным действиям. Но даже это объяснение, если оно верно, далеко не освобождает его от порицания, и представляется более вероятным, что его высказывания по церковным вопросам были подлинным выражением его чувств. Помимо этого, а также других недостатков в суждениях и нравах, которые он иногда проявлял, но которые, учитывая его постоянную активность и бесчисленные темы, с которыми ему приходилось иметь дело, были необычайно редки, поведение Мирабо в Учредительном собрании показывает его как одного из самых необычных государственных деятелей, которых когда-либо порождает великий кризис.

С марта 1790 года, когда Ла Марк после нескольких месяцев отсутствия вернулся в Париж, отношения Мирабо с двором приняли более определенный характер, а летом следующего года начались его регулярные записки для двора. В своем первом письме Людовику Мирабо осудил все планы контрреволюции как "опасные, преступные и химерические" и дал понять, что, по его мнению, единственная надежда на спасение монархии заключается в откровенном признании Революции и в сердечном сотрудничестве короля с многочисленной и лояльной партией реформ. В меморандумах, которые он направлял двору быстрой чередой в течение всего лета и осени, он делал акцент на опасностях, которых следовало опасаться, - растущем беспорядке, ненадежности Лафайета, ошибках Ассамблеи, интригах в Париже, в провинциях, в армии, страшном риске банкротства и зимы. Он неустанно твердил о необходимости противостоять этим опасностям и указывал на шаги,

которые необходимо предпринять, и средства, которые следует использовать, чтобы избежать их. 14 октября 1790 года в записке, отличавшейся большой обстоятельностью и проницательностью, он повторно изложил всю политическую ситуацию и изложил то, что должно быть принято в качестве основ конституции на будущее. Он вновь призвал Двор признать новое направление и навсегда отказаться от всех реакционных идей. Он вновь настаивал на желательности добиться отмены декрета от 7 ноября. С необычайной широтой взглядов он предложил сформировать министерство, в которое должны были войти лидеры якобинцев, чтобы научить их умеренности и ответственности за власть. Он набросал план, который впоследствии доработал, - разослать признанных агентов по провинциям, чтобы обучить народ политике, начать агитацию против действий Собрания и подготовить почву для восстановления влияния короны.

С течением времени Мирабо становился все более нетерпимым к поведению Собрания и все менее уверенным в чувствах департаментов. Он предвидел возможность гражданской войны и был готов к ней. Он обнаружил, что королева прислушивается к другим советникам и не хочет безоговорочно отдавать себя в его руки. "Они больше хотят, - горько признавался он, - услышать мой совет, чем принять его". И все же он упорно продолжал свои труды. Когда приходилось отказываться от одного плана, на его место вскоре был готов другой, и с увеличением трудностей его планы и меры предосторожности становились все более продуманными. В конце декабря 1790 года он представил суду наиболее полный и весомый из всех своих меморандумов. В нем он указал на опасности, возникающие из-за нерешительности короля, непопулярности королевы и "бешеного демагогизма Парижа". Он настаивал на необходимости принятия мер по реорганизации Национальной гвардии и уменьшению влияния Лафайета на нее. Он советовал правительству воспользоваться ошибками Собрания, поддержать его в самых глупых и наименее популярных мерах и, создав в нем партию и завоевав расположение важных членов, склонить его к согласию на собственный роспуск. Он призвал правительство направить все свои силы на организацию общественного мнения в провинциях в пользу восстановления порядка и изменения конституции. Затем он выразил надежду, что, если роспуск будет обеспечен, правительство сможет заявить о себе в промежутке, пока будут проходить выборы, и что департаменты, уставшие от беспорядков, признающие честные намерения короля и извлекающие опыт из ошибок прошлого, вернут орган представителей, дружественных свободе, но также и дружественных монархии, которые пересмотрят конституцию в разумном духе и на умеренных началах. Для достижения этих целей Мирабо разработал тщательно продуманный план, контроль за выполнением которого был возложен на Монморина, который должен был находиться в ежедневном общении с самим Мирабо. Одна из частей плана заключалась в том, чтобы убедить способных и популярных депутатов поддержать в Собрании взгляды правительства. Мирабо надеялся таким образом заручиться сотрудничеством не только правых, но и некоторых левых, недовольных Лафайетом, и даже таких политиков, как Барнав и Туре, которые начали думать, что по некоторым вопросам Собрание зашло слишком далеко. Другой частью плана, самой важной, была схема организации поддержки в провинциях. Для этого Мирабо предложил разослать несколько агентов, переписывающихся только с Монморином, чтобы повлиять на местное мнение против Ассамблеи и в пользу короля, подготовить почву для роспуска, тесно общаться со всеми классами и подробно докладывать о жителях и мнениях тех районов, через которые они проезжают. Кроме того, под руководством Клермон-Тоннерра должен был быть назначен меньший штат агентов, главным образом для снабжения и распространения политической литературы в интересах идей Мирабо. Третья часть плана заключалась в создании в Париже

организации тайной полиции под руководством Талона и Семонвиля, двух бывших агентов Лафайета, обладавших значительными способностями к интригам, которые должны были внимательно следить за передвижениями в столице и делать все возможное, чтобы завоевать сторонников среди журналистов, Национальной гвардии, духовенства, административных органов, кафе и клубов. В этом плане не делался упор на необходимость отъезда короля из Парижа, но эту идею Мирабо продолжал упорно вынашивать.

Бесполезно спрашивать, мог ли этот или какой-либо другой план Мирабо увенчаться успехом, и даже его способности могли бы свести в одну колею общественную выгоду Революцию и Двор. Столь же бесполезно делать вид, что, поскольку он трудился ради спасения монархии, он должен был быть предателем свободы, или, как некоторые, выступать против демократа, перекупленного королем. Мирабо никогда не навешивал на себя ярлыков с неопределенным значением, и его никогда не покупали. Он прилагал все усилия, чтобы Революция восторжествовала, потому что верил в свободу. Когда свобода была выиграна, он приложил все усилия, чтобы спасти монархию, потому что верил и в нее. Другие люди могут расходиться с его взглядами, но не стоит из-за этого осуждать его мотивы. Совершенно верно, что двор заплатил 200 000 франков, чтобы освободить его от долгов, и пока он писал для них меморандумы, получал жалованье в 2000 франков в месяц. Но эти деньги были заплачены не для того, чтобы получить его услуги, поскольку монархия уже имела их. Деньги платили не для того, чтобы он менял свои взгляды, а потому, что Двор хотел быть в курсе его мнений. Конституция не позволяла ему, пока он был депутатом, открыто вступать в должность, и по очевидным причинам было желательно держать его связь с правительством в тайне; , но Мирабо всегда считал себя непризнанным министром на службе короны. Разумеется, подобные отношения справедливо вызывают нарекания и подозрения. Стандарт Мирабо не всегда был высок. Он не носил ни чистого, ни незапятнанного имени. Записи его ранней жизни не переставали ранить и смущать его. Он мог быть импульсивным и капризным. Он мог опуститься до интриг и тактических приемов, которые более спокойные государственные деятели презирали бы. В определенной степени, хотя он и не был развращен, он был порочен. Но когда это признается, худшее уже сказано. Величие его характера, диапазон и разнообразие его способностей, широта его острой и энергичной мудрости, его абсолютная свобода от мелочности и подлости, его неустанный труд на благо общества, его великолепные дары красноречия и гения, и бесконечное обаяние, которое заставляло людей работать на него и любить его с энтузиазмом, который редко проявляется даже в дружбе, с лихвой решают наше суждение в его пользу и делают его карьеру одной из самых захватывающих страниц в увлекательной истории того времени. Мирабо не дожил до осуществления своих надежд. 2 апреля 1791 года, измученный работой и болезнями, великий государственный деятель умер, а вместе с ним умерла и всякая надежда на примирение Революции с Короной.

ГЛАВА VI.

Возникновение партии якобинцев.

Французскую революцию можно разделить на множество периодов, и несколько партий поочередно руководили ею. Но в целом, помимо мелких фаз, в ней было два движения, последовательных и разных. Первое движение началось в 1789 году и потеряло свою силу в 1791 году. Второе движение выступило на фронт в 1791 году, когда предыдущее уже угасало;

поддерживаемое внешними обстоятельствами, оно быстро сместило все перед собой; и оно продолжало Революцию, новыми методами и с другими целями, до 1794 года. Первое движение было в основном политическим по форме, и хотя социальные вопросы глубоко проникли в него и придали ему неодолимую силу, все же до конца его социальные аспекты были подчинены. Его лидерами были политики. Его целью было создание нового политического порядка. Его внимание было приковано к политическим изменениям. Второе движение тоже имело свои политические аспекты, и политические вопросы в значительной степени смешивались с ним. Но оно возникло прежде всего из социальных причин. Его лидеры добились успеха, потому что заявили о себе как о социальных реформаторах. Его излюбленными целями были передача собственности, уничтожение бедности и богатства, создание нового социального государства. Одно движение, конечно, было неразрывно связано другим, и никакие точные даты не обозначали ни их начала, ни их конца. Но подъем новых принципов и их победа над старыми были главной характеристикой позднейшей Революции и причиной того, что после 1791 года Революция пошла вперед и развивалась заново.

Несомненно, в 1791 году было много признаков паузы и реакции. Революция явно победила. Худшие черты старой системы - ее деспотизм, привилегии, неравенство, коррумпированный суд, устаревшие законы, благосклонность аристократии и церкви - были сметены. Была установлена широчайшая свобода в политике, в промышленности, в дискуссиях, хотя она не всегда соблюдалась со стороны населения. Исчезли феодализм и невыносимое бремя налогов. Большинство французов чувствовали, что их желания удовлетворены, а цели достигнуты. Соответственно, лихорадка и энтузиазм прежних дней естественным образом улеглись. После бурных триумфов и волнений последних двух лет люди начали тосковать по периоду затишья и отступать от политической суматохи в рутину повседневной жизни. Такое движение было естественным и неизбежным, и в 1791 году оно не представляло серьезной опасности для дела прогресса. Следствием этого стало то, что огромная масса граждан постепенно отстранилась от политики. Число избирателей на избирательных участках неуклонно падало. В 1790 и в 1791 годах по всей стране выборы показывали все большее число неявившихся. Во многих местах проголосовала лишь треть или четверть избирателей. В других - только десятая или двенадцатая часть. В Париже в выборах продолжало участвовать менее одной десятой части избирателей, и даже эта доля неуклонно снижалась. Обязанности по голосованию, налагаемые новой Конституцией, были настолько обременительны, что требовали больших затрат времени. Политика стала трудоемкой и беспорядочной, и большинство людей соглашались на жертвы и неудобства, которые они влекли за собой, только под влиянием сильного возбуждения. Поэтому, когда волнение стало ослабевать, роль занятых людей в политике уменьшилась, и контроль над выборами и власть, которую они несли, перешли к тем, у кого не было неотложных дел и чей энтузиазм не ослабевал.

Но пока большинство уходило из политики, оставалось активное и недовольное меньшинство. По всей Франции, особенно в Париже и крупных провинциальных городах, в 1791 году было много людей, у которых политика лидеров Революции и действия большой партии, стоявшей за Лафайетом и Ламеттами, вызывали растущее недовольство. Для них Революция, столь удовлетворительная для многих, принесла лишь разочарование. Их смутные, но пылкие предчувствия нового общественного устройства казались как никогда далекими от воплощения. Лидеры Собрания уже начали говорить о том, что Революция свершилась, но по всей Франции были заметны явные признаки беспорядка и бедствия. Правда, торговля получила значительный стимул благодаря выпуску ассигнаций; но кредит ассигнаций продержался недолго, и улучшение было временным и фиктивным. Положение

рабочего класса оставалось неустойчивым. Давление голода, несмотря на обильный урожай 1790 года, во многих местах оставалось острым.

Средние классы, как в городах, так и в деревне, явно выиграли от революции. Они сломали наглое господство класса, стоявшего выше них. Они обеспечили себе главную власть в государстве. Они в полной мере наслаждались чувством своей новой значимости - ощущением того, что из совершенно незначительного положения они превратились в фактических правителей страны. Так, торговцы, адвокаты, преуспевающие ремесленники, "активные граждане" городов, гордые своими правами и местами в новой Конституции, в муниципалитетах, в Национальной гвардии, радовались успеху Революции и лишь сожалели, что она дала им так много работы; в то время как крестьяне и собственники в сельских районах, освобожденные от ига феодализма, разделяли удовлетворение буржуа в городах. Но ниже этих классов находился другой, не имевший повода для самодовольства. Мещане и мелкие землевладельцы, обладатели акра или пол-акра земли, рабочие, у которых вообще не было земли, получили гораздо меньше, чем их начальники. Они действительно избавились от жестокого бремени старых налогов, от личной тирании своих сеньоров, от службы в ополчении, от необходимости принудительного труда. Но они ждали большего. Перед ними еще не было открыто ни одного пути к процветанию. Зажиточные соседи, пополнявшие их доходы, были напуганы или сметены революцией. Заработок было получить еще труднее, чем раньше. Перспектива жить без голода казалась их беспокойным умам такой же далекой и невеселой. Люди, не имевшие капитала, не могли получить прибыль от продажи церковных земель. Даже некоторые из тех, кто, имея небольшой капитал, поспешил вложить его в покупку, слишком поздно обнаружили, что сделка была неудачной, поскольку земли были настолько запущены, что требовался новый капитал, чтобы привести их в порядок. В результате, хотя продажа церковных земель во многих случаях должна была принести пользу крестьянам, в некоторых случаях мелкие покупатели, потратившие все свои сбережения на покупку, были разорены необдуманном вложением и пополнили огромную армию нуждающихся бедняков.

Причины, вызвавшие волнения в деревне, еще сильнее проявились в городах. В Париж и крупные провинциальные города стекались многие из тех, кто не мог найти пропитание в деревне. Там можно было легче найти работу. Там, во всяком случае, было легче заявить о себе. Но в Париже царила та же неустроенность. Национальное собрание упразднило гильдии и старые ограничения на торговлю, установив полную свободу труда. Но столь масштабные перемены, какими бы полезными они ни были, а в Париже не было недостатка в политиках, чьи голоса, в том числе и диатрибы Марата, звучали наиболее пронзительно, критиковали действия Собрания, не могли быть осуществлены без особого смятения. Кроме того, приток населения из провинций приводил к сокращению рабочих мест, а влияние политических волнений не способствовало спокойствию. В результате всеобщее безденежье не исчезло. Напрасно государство пыталось успокоить ее, открывая в Париже общественные мастерские. Постоянная работа и высокая зарплата, которая фактически равнялась самой высокой дневной зарплате, которую тогда можно было получить во Франции, привлекали желающих со всех концов, но только усугубляли трудности проблемы. Крупные города департаментов последовали примеру властей Парижа. Тулуза и Амьен, Безансон и Лион, а также многие другие города быстро обнаружили, что у них есть тысячи претендентов на работу, которую никто не требовал выполнять, и которой обычно пренебрегали те, кто брался ее выполнять. В Париже число занятых в муниципалитете

выросло до двадцати, а затем и до тридцати тысяч, но перспективы оставались все такими же неудовлетворительными, а недовольство беднейших слоев населения не утихало.

Таким образом, к лету 1791 года и в городе, и в деревне было огромное количество людей, которые не желали мириться с мыслью, что Революция закончилась, и все еще надеялись на долю в трофеях свободы. Удовлетворить их желания, устранить причины их беспокойства, превратить их во вполне довольных жизнью граждан было нелегкой задачей. Самые великие государственные деятели вполне могли бы потерпеть неудачу в этом начинании, ведь социальные недоразумения способны погубить мудрость самых опытных политиков. К сожалению, политики, стоявшие тогда во главе Франции, не были ни опытными, ни мудрыми. Они не осознавали грозящих опасностей. Они не пытались понять их причину. Удовлетворенные тем, что они возродили Францию, они не верили в существование выдвинутых претензий и не имели представления о том, что они должны сделать для их удовлетворения.

Правда в том, что доминирующая партия в 1791 году, партия, представленная Лафайетом и Бейли, Барнавом и Ламеттами, находилась в безвыходном положении. Они были обязаны поддерживать короля и новую конституцию. Они были обязаны противостоять республиканцам. Инстинкты подсказывали им идею упорядоченной свободы, основанной на собственности и преобладании среднего класса. Но такую систему трудно было примирить с теорией, которую они проповедовали. Вот уже два года они провозглашали абсолютное равенство людей, суверенитет всего народа, чистую демократию, о которой мечтал Руссо. Два года они занимались тем, что лишали корону ее атрибутов, обличали ее агентов, ограничивали ее власть. И когда они попытались сделать паузу, когда они стали настаивать на необходимости сохранения монархической системы, когда они ясно показали свое намерение не допускать к власти беднейший класс, этот класс в ответ повторил теории, которые им преподавали, и возмутился последствиями, которые они выводили. С точки зрения логики позиция Конституционной партии была несостоятельной, а нарушение логики в то время было преступлением во Франции. Морально и материально их позиция тоже была несостоятельной. Ведь их действия нельзя было согласовать с догмами, на которых, как они исповедовали, основывалось все правительство.

Поэтому по мере развития революции умеренное большинство становилось все более непопулярным среди бедняков. Декреты, вводившие имущественный ценз для получения всех прав активного гражданства, как для избирателей, так и для избранных, вызывали горькое возмущение тех, кого они отстраняли от власти, и явно не соответствовали философским формулам, к которым обычно апеллировали их авторы. То, как муниципальные власти и национальные гвардейцы использовали имеющуюся в их распоряжении силу для поддержки нового порядка и подавления всех, кто, казалось, был склонен ему сопротивляться, порой раздражало и угнетало. Неопределенность в каждом случае, будет ли партия власти аплодировать и одобрять народные волнения или испугается и попытается их наказать, лишала их действия морального веса. Политика, которая сначала отменила старую промышленную систему, чтобы расчистить путь для свободного объединения, а затем, в июне 1791 года, встревоженная возникшими среди рабочих союзами, вмешалась, чтобы запретить все объединения на будущее, вряд ли могла обеспечить уважение. Политика, которая сначала побудила государство искать популярности путем огромного расширения общественных мастерских, а затем, летом 1791 года, испугавшись результатов своей глупости и количества чужаков, стекающихся в Париж, отступила, внезапно распустила мастерские и заставила чужаков вернуться в свои дома, наверняка приведет к бедам и разочарованиям. Если бы партия власти была последовательно тверда, если бы она

продемонстрировала свою решимость во что бы то ни стало поддерживать порядок и никогда не поддаваться угрожающей агитации, она могла бы ошибаться, но ее можно было бы уважать. Как бы то ни было, она никогда не была достаточно сильна, чтобы ее боялись. Она была достаточно сильна, чтобы ее стали не любить.

Таким образом, среди большого недовольного элемента Франции, среди людей, которые были наиболее несчастны и нуждались, и которых было особенно много в Париже, в 1600-1791 году росло чувство, что Революция до сих пор была неудачной, что она не соответствовала своим обещаниям или их страстным надеждам, что она не принесла им никакой материальной пользы, и что нужна новая Революция, чтобы сделать для бедных то, что предыдущее движение сделало только для сравнительно богатых. Силу этого чувства трудно оценить, но несомненно, что оно было широко распространено. Вместе с ним пришло глубокое убеждение, что новое движение никогда не будет исходить от партии власти, что нужны новые лидеры и принципы, чтобы логически довести демократическую теорию до конца.

Именно на этих основаниях и при поддержке этих настроений поднялась партия якобинцев. Корень якобинской теории заключался в том, что вся власть и право принадлежат народу, и что когда народ действует, закон и правительство должны уступать ему. Народ был суверенен и не мог поступать неправильно. Следовательно, народ должен был внимательно следить за своими правителями, ревностно наблюдать за их поведением, напоминать им, что они всего лишь агенты и марионетки государя, всегда подозрительного и бдительного. Если государь решил выступить, никто из министров и правителей не должен вмешиваться, чтобы помешать ему. Они должны повиноваться, что бы он ни приказал. Очевидно, что, согласно этой теории, народные движения, каков бы ни был их характер, являлись лишь высшим проявлением закона. Даже если они сопровождались насилием и убийствами, они все равно были действиями государя. Те, кто препятствовал им, были предателями и узурпаторами. Те, кто наказывал их, были виновны в преступлении. Можно понять, как эта теория, не являющаяся пародией на якобинское вероучение, глубоко засевшая в посредственных умах, где место разума заняла лысая логика, могла привести тех, кто в нее верил, к анархии, в то время как они считали, что находятся на пути к свободе.

Другим прямым следствием этой доктрины стали порожденные ею догматизм и самоутверждение. Народ становился сувереном, и каждый человек, как бы он ни был несведущ в политике, становился ответственным правителем. Якобинца переполняло чувство огромной ответственности, его распирало от гордости за свою новую значимость. Правительство, закон, церковь, государственные служащие вдруг стали его ставленниками, и он должен был лично следить за тем, чтобы они выполняли свой долг. Соответственно, в его тоне появилась любопытная инфляция. Его язык стал языком диктатора. Его вера в себя достигла необычайного уровня самомнения. Уверенность в себе, свойственная молодости, возможно, помогла вывести его из равновесия, ведь интересно отметить, как много рекрутов эта доктрина нашла среди молодежи. Дух самоутверждения подхватили не только отдельные люди, но и государственные органы. Даже небольшие муниципалитеты стали настаивать на том, чтобы действовать как независимые государи, отказывались слушать вышестоящих и ставили свои собственные законы выше законов Собрания. В качестве примера можно привести маленький городок Исси-л'Эвек, где священник, предприимчивый политик, действуя, по-видимому, как глава прихода, взял на себя короткую, но великолепную диктатуру, издал полный кодекс для управления городом, ввел налоги, заключил в тюрьму своих противников, конфисковал зерно, и разделил землю в окрестностях, и осуществлял неоспоримые прерогативы суверенного принца. Если народ признавался суверенным, то из

этого, по мнению энтузиаста, следовало, что любая часть народа тоже может быть суверенным, и, при условии, что он патриот, каждый человек может быть законом для самого себя.

Когда эти глубоко укоренившиеся идеи проявились в действии, результаты были неизбежно катастрофическими. Трудовое население, одержимое верой в то, что верховная власть перешла к нему, естественно, захотело использовать ее, как использовали ее в прошлом их начальники, для собственного обогащения. Началось всеобщее сопротивление ренте, десятине, налогам и денежным поборам любого рода. Отменив феодальный суверенитет и привилегии, Собрание постаралось подтвердить все те права, которыми феодал пользовался как подрядчик и арендодатель; но этого различия крестьянин, естественно, не понимал. Отменив многие одиозные поборы, государство, конечно, было вынуждено заменить их некоторыми налогами. Но крестьянин, только уловивший мысль о том, что революция в какой-то мере освободит его от всех неприятных требований, возмущался новыми налогами как посягательством на его права. Во многих случаях он прибегал к помощи любой собственности государства, которая попадала в его руки. На конфискованных церковных поместьях селились скваттеры. Собирались группы людей и рубили лес на государственных землях. Толпы штурмовали таможи и изгоняли клерков. Вооруженные объединения препятствовали сбору налогов. Идея, зародившаяся в умах, легко сбитых с толку, превратилась в страсть, а когда ей стали противостоять, результатом стало насилие.

Именно таким образом якобинская теория, выведенная из философии, принятая молодыми энтузиастами, едва ли понятая массой народа, который аплодировал ей, потому что она открывала путь к удовлетворению его нужд, подстегиваемая оппозицией, ожесточенная паникой, подозрениями, преследованиями и воплощенная в действие физическим бедствием, постепенно укоренилась в сознании бедняков. Но именно насилием эта теория восторжествовала. Очень трудно составить справедливое впечатление о той роли, которую сила сыграла в политике Франции в 1790 и 1791 годах. С одной стороны, писатели обходят стороной случаи беспорядков. С другой стороны, они собирают их без анализа и объяснения и тем самым создают впечатление, которое, вероятно, в какой-то степени является ложным. В этом вопросе историки, похоже, считают, что факты - это вопрос политического мнения. В 1790 и 1791 годах, несомненно, действовали успокаивающие влияния. Решительный триумф партии реформ, удовлетворение от продажи церковных земель и выдачи ассигнаций, учреждение новых конституционных властей, деятельность буржуазной гвардии, которая дошла до того, что организовала комбинации между национальными гвардейцами в разных районах с целью подавления анархии, естественный инстинкт каждого народа обеспечить как можно скорее воцарение порядка - все эти причины способствовали миру и породили периоды всеобщего спокойствия. Но все же записи тех лет полны признаков глубокого смятения, бунтов, убийств и актов грабежа, которых, возможно, следовало ожидать, но которые нельзя игнорировать.

Дух беспорядка проявлялся в разных формах. В некоторых случаях вспышки были вызваны страхом и ненавистью к "аристократам". В некоторых случаях они были рецидивом крестьянской войны против замков. В некоторых случаях они возникали из-за конфликта между священством старой церковной системы и декретами Национального собрания, и эти религиозные разногласия, разгоряченные страстями и ожесточенные древними распрями, вызвали, особенно в Ниме и Монтобане и на всем юге Франции, ужасное возбуждение, почти равное гражданской войне. В некоторых случаях они были вызваны чисто местными и личными причинами. Во многих случаях они были вызваны страхом перед голодом, и их

целью был захват зерна. В других, особенно в Лионе и Марселе, они были вызваны чрезмерной суровостью национальных гвардейцев в поддержании порядка и ожесточенным конфликтом, который начинался между буржуа и рабочим населением. В других случаях, как, например, в Авиньоне, они возникли в результате политической революции и вызвали к жизни многочисленный хулиганский элемент, которому в течение долгого времени было позволено укрываться в этом городе при мягком правлении пап. В других случаях можно не сомневаться, что преступники воспользовались беспорядками того времени, чтобы сделать политику предлогом для частного грабежа. Для беспорядков открывались всевозможные возможности, и в разгар столь масштабных перемен было неизбежно, что этими возможностями иногда злоупотребляли.

Самой серьезной особенностью этих вспышек было то, что вместо того, чтобы со временем они становились редкими и прекращались, тенденция событий, особенно после 1791 года, была противоположной. Их политическое влияние усилилось. Вместо того чтобы закон становился сильнее, а беспорядочные элементы попадали под запрет респектабельного большинства, закон, как оказалось, неуклонно слабел, а сопротивление респектабельного большинства уменьшалось. Беспорядочный элемент организовался, победил на выборах, провозгласил свои принципы и занял место у власти. Национальное собрание приняло решение "завуалировать статуи закона". Вожди мафии были возведены на престол в качестве законодателей в городах, где их насилие сделало их верховными. Их противники, роялисты, священники или буржуа, становились их добычей, так как злодеяния, совершенные против непопулярных людей, почти наверняка оставались безнаказанными. Серьезность беспорядков заключалась не в количестве убитых. Дело было в том, что их могли убивать безнаказанно, в том, что не было никакой защиты от насилия для тех, кто по вероисповеданию, мнению или репутации был неприятен толпе. Именно эта общая незащищенность и привела якобинцев на фронт. Ведь там, где закон парализован, самые жестокие становятся самыми сильными, и французский буржуа, достаточно храбрый в погоне за славой, кажется, не имеет морального мужества для сопротивления, когда запугивание и возмущение угрожают ему в его воротах.

Еще один очень заметный момент в истории якобинского триумфа - это завершенность партийной организации. Это первый современный пример того, что может сделать организация в политике. Хотя в клубных списках впоследствии фигурировали самые разные имена, число настоящих якобинских политиков, не считая смутных толп, которыми они руководили, кажется, никогда не было очень большим. Насколько можно судить по опросам, якобинцы в Париже, даже на пике своего могущества, не превышали десяти или одиннадцати тысяч человек. Два хороших судьи, Малуэ и Грегуар, имевшие много возможностей для наблюдения и принадлежавшие к совершенно разным партиям, сошлись впоследствии на том, что всех якобинцев в стране было около трехсот тысяч, а по самым высоким оценкам их было лишь на сто тысяч больше. Лидеры новой партии принадлежали в основном к среднему классу. Наибольшую роль среди них играли адвокаты и мелкие специалисты, клерки и журналисты, люди, привыкшие брать на себя инициативу в практических делах, готовые к работе языком или пером, стремящиеся пробиться в жизни, обладающие достаточными знаниями, чтобы быть уверенными в себе, и недостаточными знаниями, чтобы быть мудрыми. Из этого класса вышло большинство известных лидеров, Дантон и Робеспьер, Десмулен и Фрерон, Эбер и Шометт. Некоторые другие были писателями и профессорами, студентами, как Сен-Жюст, актерами, как Колло д'Эрбуа, священниками, как Грегуар, Жан Бон Сент-Андре, Шабо и Лебон, мрачными мечтателями, как Марат, или иностранцами, как удивительный Анахарсис Клотц, который уверял Законодательное собрание, что его сердце французское, хотя душа "sans-culotte". Позже

качество ухудшилось, и все более низкий и худший элемент охватил остальных. Но главные лидеры якобинцев были людьми образованными, хотя в погоне за популярностью они часто снисходили до того, чтобы перенимать худшие манеры, чем их собственные.

Именно благодаря успехам в организации эти люди достигли власти. Якобинское общество в Париже с его многочисленными именами и высоким престижем с самого начала заняло исключительное положение, и это положение оно значительно укрепило, создав филиалы по всей Франции. Осенью 1790 года Парижский клуб основал газету для распространения среди своих членов и поручил ее редактирование Лаклосу. К концу года он смог опубликовать список более чем ста двадцати провинциальных клубов, связанных с Парижским обществом, состоящих с ним в постоянной переписке, черпающих свои взгляды у его лидеров и определяющих свою политику с их помощью. В эти клубы стекались энергичные молодые радикалы из провинциальных городов. Они стали центрами передового революционного чувства. Их члены обладали верой, энтузиазмом, безрассудством, честолюбием; они организовывали местную политику, предлагали или потворствовали политическим беспорядкам и с каждым днем претендовали на все большую роль в управлении местными делами. В некоторых крупных городах за авторизованным Якобинским клубом стоял неавторизованный клуб или комбинация, состоявшая из менее респектабельных и ответственных политиков, которые пропагандировали доктрины вышестоящего органа и дополняли их, при необходимости, силой. По мере продвижения 1791 года число аффилированных клубов неуклонно росло. В августе их число достигло почти четырехсот. Осенью и зимой оно росло еще быстрее. В июне 1792 года оно достигло двенадцати сотен; а к концу августа того же года, по подсчетам одного достаточно компетентного наблюдателя, во Франции насчитывалось двадцать шесть тысяч якобинских клубов. Значение этой широко распространенной организации для придания партии силы и сплоченности невозможно оценить слишком высоко. Если вспомнить, что это была единственная существовавшая федерация - ведь все попытки других партий создать подобные организации были разрушены силой, - становится легче осознать влияние, которое якобинцы оказывали на политику, и понять, как Парижский клуб, даже будучи недоверчивым и непопулярным, смог противостоять своим врагам и удержать свои позиции.

Тем временем в Париже росла другая организация, которой суждено было дать якобинцам власть над столицей. Революция вернула Парижу местную свободу, которой его лишила монархия, и одной из первых целей парижских политиков было создание в столице муниципалитета. После взятия Бастилии на смену неофициальной Ассамблее парижских избирателей, которая после краха старой системы временно узурпировала административную власть, пришел более регулярный орган под названием "Триста", избранный в различных округах и получивший задание подготовить постоянную конституцию города. Именно этот орган - "Триста" - с Бейли во главе управлял Парижем в течение последующего года и своими раздражающими действиями заслужил непопулярность среди бедняков. Но в целом, несмотря на многие ошибки и перед лицом многих трудностей, она выполняла полезную и нужную работу. Однако ранней осенью 1790 года на смену этому органу пришла новая система, которая оставалась ответственным правительством Парижа вплоть до наступления реакции после Террора. В соответствии с ней город был разделен на сорок восемь секций. Секции избирали нескольких представителей, которые составляли муниципальный совет, а некоторые из них - муниципальную исполнительную власть[7]. Во главе всей этой организации стоял мэр, избираемый голосами жителей Парижа. Мэр, как глава этой большой организации, стал чиновником первой важности. Ему подчинялась Национальная гвардия. В его распоряжении находились все ресурсы столицы. Он и его совет контролировали политику Парижа, а политика Парижа

управляла Францией. Кроме того, в каждой из сорока восьми секций имелся свой выборный орган власти - постоянный комитет из шестнадцати членов, выполнявший распоряжения муниципального органа и наделенный некоторыми административными и полицейскими полномочиями. Якобинцы, в соответствии со своей теорией, утверждали, что все собрания секций должны заседать постоянно, что активные граждане должны собираться каждый день, и что муниципалитет должен ежедневно узнавать их мнение по текущим вопросам. Суверенный народ, заявляли они, не может должным образом делегировать свои полномочия представителям. Однако более практичная теория представительного правления победила. Но якобинцы внесли положение, согласно которому избиратели любой секции должны собираться, если этого требуют пятьдесят активных граждан этой секции, и все сорок восемь секций должны собираться, если восемь из них одновременно предъявляют требование. В результате в кварталах, где преобладали якобинские взгляды, и особенно в бедных районах Парижа, постоянно собирались собрания секций, которые высказывали свое мнение муниципальным властям. Когда большинство в более спокойных секциях перестало принимать активное участие в политике, революционные секции смогли, путем настойчивого давления и прибегая к насилию и беспорядкам, манипулировать муниципальными выборами, диктовать муниципальному органу, и в конечном итоге контролировать эту большую организацию и использовать ее силы для продвижения своих взглядов.

Смерть Мирабо подготовила почву для прихода к власти лидеров якобинцев. Робеспьер и до этого был известной фигурой в Собрании, но в течение летних месяцев 1791 года его влияние и значение в нем неуклонно росли. С самого начала он был самым ярким защитником теории Руссо, самым убежденным выразителем якобинской веры. Его принципы были абсолютно ясны. Добиться полного равенства людей, протестовать во имя справедливости против любого закона, позволяющего соображениям обстоятельств или необходимости вмешиваться в абстрактные права, установить в мире господство сентиментальной логики, основанной на философии *Contrat Social*, - таково было его непоколебимое кредо. Оно определяло его надежды, его политику, его жизнь. Он любил излагать ее принципы, наслаждаться ее фразами, декламировать ее прекрасные желания. Он никогда не уставал говорить, и это, в той или иной форме, всегда было его темой. Собрание могло смеяться или болтать, публика могла приходить и уходить, но ничто не мешало риторике Робеспьера. Его самодовольство было столь же сильным, как и его вера. Он был избранным служителем Добродетели, чтобы проповедовать ее Евангелие возрожденному миру. Похоже, это было его глубоким убеждением, и это, несомненно, было основой его силы.

Мало сомнений в том, что в этом отношении он был честен. Его слабые чувства были настоящими. Его любовь к порядку и порядочности была искренней. Его неподкупность была известна и редка. Его тщеславие было феноменальным. Его способность к самообману была беспредельной. В целом Робеспьер был верен своим теориям. Он был способен, как показал не раз, атаковать популярные предложения, если они казались ему противоречащими принципам. Правда, он не осуждал беззакония и бесчинства, которые вызывали у него естественное отвращение; но его сдержанность, вероятно, объяснялась не столько расчетами тонкой политики, сколько его необыкновенной способностью убеждать себя, когда происходили беспорядки или резня, что это всего лишь народ вершит правосудие, и что правосудие народа должно быть правильным. Робеспьер никогда не брал на себя инициативу в критические моменты, когда требовались решительные действия. По своей конституции он был нервным и нерешительным. В нем не было той смелости, которая сделала Дантона великим. Бесстрашный в софистике, он был робок в действиях. В некоторых случаях очень трудно освободить его от обвинения в трусости, и все же возможно, что его

нерешительность проистекала главным образом из необходимости, которую он всегда чувствовал, согласовать свои действия со своей теорией, прежде чем он мог действовать с чистой совестью. В маскировке преступлений под одеянием добродетели, так удовлетворительно, что обманывал самого себя, Робеспьеру не было равных. Якобинская теория ставила над законом действия суверенного народа. Эти действия проявлялись в бунтах. Эти беспорядки сопровождались терроризмом и человеческими жертвами. Если за этим следовали подобные последствия, их нельзя было предотвратить. Можно лишь сожалеть об испорченности человеческой природы, которая сделала их необходимыми. Поэтому Робеспьер, первосвященник этой доктрины, всегда был готов защищать ее, набрасывая на каждое беззаконие маску словесных чувств и добродетели. Так он стал лидером своей партии. Его политика в конечном итоге оказалась самой смертоносной, потому что ее отчаянная логика была результатом теории, которая не могла ошибаться. Если государственная мудрость - это компромисс теорий с фактами, то Робеспьер, по сути, не был государственным деятелем, поскольку для его фатального и узкого идеализма любой компромисс с окружающими его реалиями был неведом.

Лето 1791 года - критический период в судьбе противоборствующих партий. Когда большинство потеряло в лице Мирабо своего сильнейшего лидера, на авансцену вышел Робеспьер, вождь новой партии. Трудно удержаться от вывода, что в это время будущее было еще не определено, а триумф якобинцев ни в коем случае не обеспечен. Если бы партия власти располагала несколькими людьми, обладающими практической энергией и мудростью, кажется вполне возможным, что революция могла бы приостановиться, и ее можно было бы направить на путь упорядоченной свободы. Но у них не было организации. Они не видели своей опасности. У них не было опыта, который мог бы им помочь, а Мирабо был мертв. Неудачное бегство короля в Варенн в июне и манифест, в котором он изложил свои серьезные претензии к Революции, сыграли на руку передовой партии. Это значительно увеличило трудности большинства, которое желало сохранить Людовика на троне. За этим последовала вспышка якобинской активности, в которой, однако, проявилось множество различных взглядов. Дантон и Кордельеры, Бриссо и Десмулен смело требовали установления республики, но их мнение разделяли не все члены их партии. Марат предлагал назначить диктатора, который должен был предать смерти всех своих врагов. Сторонники герцога Орлеанского выступили за низложение Людовика, чтобы обеспечить герцогу трон. Но заявления Якобинского клуба были весьма неопределенными. Они требовали низложения Людовика, но не решались предложить упразднить трон. 1 июля на заседании клуба Бийо-Варенну не позволили даже выступить в поддержку республики. Несколько дней спустя, вечером 13-го числа, возможно, под влиянием реакции в Собрании, Робеспьер выступил и заявил, что лично он не является республиканцем и что "слово республика не означает никакой определенной формы правления"; даже Дантон избегал этого вопроса и ограничился нападениями на неприкосновенность короля.

Большинство в Собрании воспользовалось расколом среди своих оппонентов для отстаивания своих взглядов. Барнав и Ламеты, а также возглавляемая ими партия сплотились в поддержку новой конституции. Напрасно республиканцы протестовали. Покинутые Якобинским клубом, не поддерживаемые своими лидерами, под пристальным наблюдением Лафайета, они попытались поддержать агитацию, устроив 17 июля демонстрацию на Марсовом поле. Целью было собрать подписи под чудовищной петицией с требованием свержения короля. Не похоже, что цели собрания были зловещими или опасными; но беспорядок того времени, яростный язык, которым Марат, Десмулен и другие передовые лидеры подстрекали народ к насилию, и трудности их собственного положения, естественно, встревожили конституционную партию. Муниципалитет, взяв пример с

Собрания, решил подавить демонстрацию, и в результате ошибок, которые невозможно объяснить, но легко представить, начались ожесточенные и кровопролитные беспорядки, закончившиеся серьезными человеческими жертвами. Насколько Лафайет и Бейли были виноваты в своем поведении и справедливо ли вообще возлагать на них вину, всегда будет предметом дискуссий. Но наиболее поучительно обратить внимание на последствия, к которым привела "резня на Марсовом поле". Это был единственный случай в истории Революции, когда партия порядка, справедливо или нет, решительно заявила о себе, и это убедительно показывает, насколько они были сильны, если бы осознавали свою силу и знали, как ее использовать. На данный момент их триумф был полным. Республиканская агитация рухнула. Лидеры, которые вдохновляли ее, но оставались на заднем плане, внезапно исчезли из политики. Дантон, под угрозой судебного преследования, удалился в деревню. Робеспьер в срочном порядке сменил место жительства. Марат спрятался и готовился к побегу в Англию. Десмулен приостановил выпуск своей газеты. Конституционная партия открыла новый клуб под названием "Фельяны", и многие якобинцы сразу же вступили в него. Из трехсот депутатов, состоявших в Якобинском клубе, все, кроме семи, ушли в отставку. И Людовик был успешно восстановлен на троне. Если бы большинство обладало хоть какой-то силой и сплоченностью, оно, возможно, смогло бы подавить движение якобинцев и обеспечить себе свободу, которую, как им казалось, они завоевали.

Но вместо этого они просто выбросили свою победу. Барнав, Малуэ и несколько других членов большинства все же предприняли попытку организовать свою партию, и возникла идея эффективного пересмотра Конституции. Но это закончилось ничем. Роковое отсутствие единства и практических способностей, характерное для партии, отсутствие определенности и проницательности, увлечение болтовней и теорией - все это разрушило идею. Медленно, но неуклонно влияние Робеспьера вновь утверждалось в Собрании. Лидеры якобинцев вернулись к общественной жизни и беспрепятственно возобновили свою тактику. Единственным постоянным результатом 17 июля стало расширение пропасти между партией власти и партией, которая все еще была исключена, и оставление в памяти тех, кто пострадал, и в огромной массе бедняков, которые им сочувствовали, неизгладимых горьких воспоминаний о несправедливости, требующей возмездия и отмщения.

Оживляющее влияние якобинцев отчетливо проявилось в сентябре и октябре 1791 года. Опираясь на слепую фатумность роялистов, они смогли провести резолюцию, делающую членов действующего законодательного собрания нежелательными для избрания в следующий состав, и таким образом отстранить от власти своих самых активных противников, во всяком случае, на некоторое время. Пересмотр Конституции немного сыграл против них, но это оказалось очень мало, и все ее худшие недостатки были сохранены. Когда в конце сентября Учредительное собрание разошлось, Робеспьер и Петион, а не Лафайет или Барнав, стали его героями среди населения Парижа. И в последующие месяцы власть их партии росла. Несмотря на принятое большинством Собрания перед самым его роспуском постановление, запрещающее создание народных клубов и их вмешательство во всеобщие выборы, якобинские клубы быстро размножились и бросили все силы на предвыборную борьбу. Отмена имущественного ценза для депутатов уже была достигнута благодаря настойчивости Робеспьера. Отставка Лафайета с поста главного командира Национальной гвардии и упразднение этой должности как постоянной значительно ослабили конституционную партию. Растущее чувство усталости от политики и желание отдохнуть от агитации, испытываемое основной массой народа, стало проявляться все отчетливее. Обновление всего законодательного органа и половины всех местных чиновников дало возможность многим умеренным и опытным людям уйти в отставку, а на их место прийти более напористым и амбициозным политикам. Количество выборов и тот факт, что они

проходили так близко друг к другу, не позволили многим избирателям зарегистрировать свои голоса. Необходимость приносить клятву о соблюдении новой церковной системы лишила права голоса большое количество щепетильных католиков. Запугивание, которое якобинцы практиковали против всех реакционных избирателей, чему есть наглядные примеры, но последствия которого трудно оценить, должно было удержать многих спокойных людей. По всей Франции доля избирателей, пришедших голосовать, была очень мала. Результат выборов в новое Собрание показал значительное усиление передовой партии и множество новичков, которые сразу же поспешили вступить в Якобинский клуб. Но он также показал, что большинство избирателей преданно придерживались новой конституции, были полностью готовы дать ей испытание и были хорошо представлены даже в самом Париже.

Однако, к несчастью для Франции, большинство так и не нашло времени для митинга. С конца 1791 года тень войны начала омрачать политический горизонт. В критический момент, когда нация должна была сделать выбор между большинством, которое хотело укрепить новую систему, и меньшинством, которое хотело разрушить ее ради чего-то другого, тревога вторжения удвоила панику и беспорядок, парализовала любую возможную реакцию и снова вывела французов из равновесия. Война с Европой означала борьбу как за свободу, так и за национальное существование. В суматохе этой борьбы все остальные соображения были отброшены на задворки. Героями и тиранами Франции становились те, кто лучше всех мог спасти Революцию и сохранить честь страны.

ССЫЛКИ:

[7] 144 представителя секций образовали Генеральный совет Коммуны; 48 из них составили муниципальный орган; 16 из них были фактическими администраторами, распределенными между пятью департаментами: "пропитания", "полиции", "финансов", "общественных учреждений" и "общественных работ". См. книгу Мортимера-Терно *"Histoire de la Terreur"*, т. I. Приложение III, где подробно рассматривается этот вопрос.

ГЛАВА VII.

Влияние войны на революцию.

Ошибочно думать, что европейские державы напали на Революцию во Франции. Это Революция напала на них. Дипломаты XVIII века поначалу с циничным равнодушием отнеслись к встрече Генеральных штатов в Версале. Они, естественно, были слепы к его значению. Им не приходило в голову, пока не прошло несколько лет, что вспыхнувшая во Франции война была чем-то большим, чем временным политическим потрясением, которое, ослабив сомнительного соперника, послужит на пользу другим державам. Новый космополитический дух, новая идея энтузиазма человечества, которые вместе с влиянием Руссо начинали глубоко ощущаться в Европе, не повлияли на дипломатический ум. Потребовалось немало острых уроков, чтобы убедить кабинеты министров Европы в том, что события во Франции были не результатом обычной политической смуты, а частью движения, столь же масштабного, сколь и глубокого, абстрактного в своих целях и максимах, универсального по своему охвату, неодолимого в своем продвижении и вдохновленного пропагандистским энтузиазмом, который в прежние века привел к великим крестовым походам и религиозным войнам.

Соответственно, позиция европейских держав поначалу была сродни самодовольному эгоизму. Они смотрели на беспорядки во Франции с тем обходительным, но умеренным беспокойством, которое проявляют народы, если не люди, по отношению к несчастьям своих друзей. Кроме того, в 1789 году большинство держав было занято куда более насущными делами у себя дома. На троне России восседала самая блестящая государыня века, государыня, которой Дидро приписывал "душу Брута" и "облик Клеопатры", погрязшая во всех пороках, которыми воображение ее врагов наделяло Феодору, превосходящая ее во всех достижениях, которыми энтузиазм ее подданных наделил Елизавету, непревзойденная в амбициях и способностях, одинаково неутомимая в войне и дипломатии, в литературе и любви, необыкновенно проницательная правительница, необыкновенная женщина и самая успешная царица. Рядом с Екатериной на Севере царствовал другой способный и привлекательный принц, Густав III Шведский, сочетавший в себе неугомонное тщеславие и философские максимы, реальную способность к управлению и дух "Саладина в поисках крестового похода". В Австрии император Иосиф, безумный коронованный философ Европы, своими реформами привел в смятение свои владения и грозил взорвать Восток своими амбициями. В Пруссии Фридрих Вильгельм II, с его прекрасными стремлениями и фантастическими промахами, позволял фаворитам и шарлатанам помогать ему в поддержании великих традиций его предшественника. В Испании угасающая династия Бурбонов тщетно взидала на Францию, чтобы спасти ее от утраты некогда гордого положения в мире. В Англии Питт, находясь в зените своего могущества, был готов предложить Франции союз, который она была слишком подозрительна, чтобы принять от сына Чатема, и, с тревогой наблюдая за беспорядками в Турции и успешно утверждая свое влияние в Голландии, возлагал надежды на широкие гуманитарные проекты, которые он видел открывающимися перед ним, к которым его призывали его гений и склонность, и которые он надеялся завершить миром.

Два момента, которые занимали внимание Европы в 1789 году, - это состояние Польши и беспорядки на Востоке. Честолюбивые замыслы Екатерины и помощь, оказанная им Иосифом, угрожали существованию Турецкой империи, раздражали прусский двор и пробуждали опасения Англии, всегда чувствительной к безопасности Стамбула. Польша, поле битвы циничной дипломатии, раздираемая долгими раздорами и разрушенная жалкой конституцией, тщетно пыталась под ревнивыми взглядами своих великих соседей отвести надвигающуюся гибель и вновь подтвердить свои древние притязания на место среди народов мира. Но Россия уже давно решила, что Польша должна быть ее вассальным государством или вообще перестать быть государством, а Пруссия, поставленная перед суровой необходимостью, понимала, что сильная Польша и сильная Пруссия не могут существовать вместе и что если Польша когда-нибудь снова поднимется к власти, то Пруссия должна распрощаться с единством и величием. Эти два вопроса для заинтересованных государств казались гораздо более важными, чем любая политическая реформа во Франции, и занимали дипломатов Европы до лета 1791 года.

В феврале 1790 года новое влияние на европейскую политику оказала смерть императора Иосифа и воцарение его брата, Леопольда II. Леопольд был человеком замечательных способностей, не энтузиастом и не мечтателем, досконально знающим эгоистические традиции австрийской политики и некоторые тонкости итальянского государственного устройства, проницательным, умеренным, решительным и ясным, спокойно настроенным на собственный путь и в целом достаточно искусным, чтобы добиться его. Леопольд застал свои новые владения в состоянии полнейшего смятения, со всех сторон ему угрожали войны и

мятежи. Он быстро принялся за восстановление порядка. Он отменил непопулярные указы Иосифа. Он примирял или подавлял своих недовольных подданных. Постепенно он восстановил власть короны. Он не симпатизировал восточным планам Иосифа и опасался наступления России. Он решил, что Пруссия больше не должна брать на себя право решающего вмешательства в европейскую политику, а должна вернуться к своему прежнему положению зависимого союзника Австрии. Он надеялся путем последовательной и настойчивой дипломатии добиться реформы польской конституции и вновь создать в Польше государство в тесном союзе с собой, достаточно сильное, чтобы сдерживать и Россию, и Пруссию. Он не был слеп к серьезности событий, происходящих во Франции, и его сочувствие к несчастьям сестры было искренним. Но он яснее, чем большинство людей, видел огромные трудности, связанные с любым вмешательством во французские дела, и, хотя он проявлял свои чувства и был готов обсуждать предложения по оказанию влияния держав на французскую политику, он был далек от желания брать на себя обязательства по какому-либо непоправимому разрыву с Францией.

Поэтому первые восемнадцать месяцев правления Леопольда были заняты его собственными ближайшими интересами, и к концу этого времени его успехи были заметны. Обширные планы Екатерины в Турции были пресечены. Война была предотвращена. Польша укрепилась благодаря внутренним переменам. Пруссию удалось примирить и перехитрить, а ее влияние было ослаблено. Наконец, в конце августа 1791 года император был свободен от решения французской проблемы, и он отправился в замок Пилльниц, чтобы встретиться с королем Пруссии и лидерами эмигрантов при дворе саксонского курфюрста.

Уже некоторое время беспокойство французских эмигрантов вызывало большое недоумение в Европе. Принятые с распростертыми объятиями церковными князьями Рейна, курфюрстами Майенским и Тревским, они принялись усиленно агитировать за свое восстановление. Они принесли с собой в изгнание все худшие черты своего сословия. Они обращались с хозяевами с холодной наглостью, предавались самым самодовольным прогнозам и демонстрировали то глубокое презрение ко всему, кроме собственной выгоды, из-за которого их так справедливо презирали во Франции. В представлении эмигрантов их дело было делом феодальной Европы. Как революционеры считали всех дворян врагами, так и эмигранты рассматривали всех князей и аристократов как соратников по оружию. Глубокие и невозмутимые эгоисты, они не желали ничего слышать, кроме своего собственного восстановления в полных привилегиях Старого режима; и любой компромисс с конституционной свободой, любая умеренность в советах или в языке, любое уважение к желаниям короля воспринимались с презрением. Редко какой класс людей демонстрировал в более яркой манере отсутствие патриотизма, здравомыслия и темперамента, а также полное безразличие к любым интересам, кроме своих собственных.

Целью эмигрантов было оказать давление на европейские суды, чтобы побудить державы к активному вмешательству в их интересы. Граф д'Артуа и его премьер-министр Калонн переезжали из столицы в столицу, чтобы отстаивать интересы угнетенной аристократии Франции. В Вене они подверглись недвусмысленному отпору, но в других местах они встретили более доброе отношение. Пруссия заверила их в своем сочувствии, но выразила сожаление, что не может предпринять никаких действий без согласия императора. Сардиния и Испания были настроены дружелюбно и часто говорили о войне. Екатерина Российская, искренне ненавидевшая доктрины Революции, но недооценивавшая значение движения, которое было слишком далеко, чтобы коснуться ее народа, обменивалась восхитительными комплиментами с потомками Анри Четвертого и выражала свой энтузиазм

по отношению к их делу. Но благоразумная императрица не проявила склонности рисковать жизнью одного казака, чтобы поддержать трон Бурбонов. Густав Шведский, явившись в Экс-ла-Шапель, с пылом записался на службу эмигрантам. Он предложил переправить объединенную армию шведов и русских на побережье Нормандии и, пройдя вверх по Сене до Парижа, утвердить права королей. Но когда Густавус обратился к Екатерине с просьбой помочь ему в осуществлении крестового похода, то, к своему горькому разочарованию, обнаружил, что никакой помощи получить не может.

Тем не менее возвышенный тон французских принцев не изменился. После бегства из Франции, в июне 1790 года, граф де Прованс основал свой двор в Кобленце, где к нему присоединился его брат граф д'Артуа, и где, ссылаясь на то, что Людовик был в плену, он потребовал титул регента и принял на себя власть короля. Двор двух французских принцев в Кобленце достоверно отображал недостатки и глупости эмигрантской партии. Но более приятное зрелище представлял собой лагерь в Вормсе, где Конде мужественно пытался организовать армию для борьбы с революцией во Франции. Под знамена Конде стекались более патриотичные эмигранты, которым не нравилась идея иностранной интервенции и которые надеялись отвоевать свое положение самостоятельно. Конде без труда нашел офицеров, но с рядовыми и солдатами было сложнее. Тем не менее он упорствовал в своем предприятии и постепенно собрал значительные силы^[8]. Зимой 1791-92 годов был раскрыт заговор с целью захвата Страсбурга, что сильно встревожило Французское собрание. Но соседние немецкие князья с опаской смотрели на эмигрантскую армию. Она вносила смуту в их владения и навлекала на них враждебность французского правительства. Император присоединился к ним, протестуя против этого. В феврале 1792 года армия Конде была вынуждена оставить свой лагерь в Вормсе и отступить дальше в Германию.

Императору было хорошо известно о безрассудном эгоизме принцев-эмигрантов. Он симпатизировал им так же мало, как и своей сестре. Он не собирался прислушиваться к их требованиям. Если он и вмешивался во дела Франции, то лишь осторожно и нерешительно, чтобы спасти Марию-Антуанетту и ее мужа. Разумеется, он не стал бы затевать войну ради реставрации Старого режима. Настоящие склонности Леопольда, с которыми в целом соглашалась Мария-Антуанетта, указывали на необходимость созыва Европейской конференции, чтобы оказать давление на французское правительство, укрепить руки умеренных партий в Париже и предотвратить любое возмущение короля и королевы. Соответственно, беседы в Пилнице ни к чему не привели. Император и король Пруссии действительно заключили договор, обязывавший их в определенных случаях совместно вести войну против Франции. Но условия этого союза, предполагавшие совместные действия всех европейских держав, и в особенности сотрудничество с Англией, которая, как известно, была против любой формы интервенции, делали договор пустой формой. Сам Леопольд заверил своего канцлера, что Пилльницкая конференция ни к чему его не обязывала, а все происходящее справедливо назвали одной из "августейших комедий" истории. Со временем решимость императора избежать войны усилилась. Когда в сентябре 1791 года Людовик принял новую конституцию, Леопольд воспользовался этим событием, чтобы четко обозначить свою позицию. 1 ноября он направил державам циркулярное письмо, в котором указал им, что действия Людовика делают невозможным дальнейшее вмешательство, и, несмотря на гневные протесты эмигрантов, опасность войны, казалось, исчезла.

Таково было отношение Европы к заседанию Законодательного собрания. Численно большинство членов нового собрания благосклонно относилось к конституции и искренне

желало сохранить трон. За пределами палаты их поддерживали Лафайет и Барнав, две сильные, представительные фигуры, хотя на Лафайета нельзя было положиться в том, что он будет действовать согласованно с коллегами. Но в палате у них не было лидеров, обладающих большим влиянием, и не было чувства партийной дисциплины. Их политика была негативной и неопределенной, и на них не всегда можно было положиться, чтобы голосовать вместе. Напротив них, слева от Собрания, сидел корпус депутатов, менее сильный по численности, но гораздо более способный и сплоченный, полный красноречия и энтузиазма, нетерпеливый, блестящий, безрассудный и стремительный, с четкой политикой и смелыми, амбициозными взглядами. Она состояла из людей, которые презирали конституцию как неудовлетворительную подделку, не испытывали почтения к трону, не желали компромисса со старым порядком, но, считая себя вдохновленными духом героев Греции и Рима, были полны решимости смести королей и тиранов, предпринять крестовый поход во имя свободы и с триумфом утвердить свой республиканский идеал во Франции. К этому органу присоединились и депутаты-якобинцы, поскольку на данный момент их цели совпадали. Но большую часть его составляли люди, которые, хотя и состояли во временном союзе с якобинцами и были горячими приверженцами Якобинского клуба, вскоре должны были стать их соперниками, и которые выделяются как партия жирондистов, потому что их главные лидеры происходили из департамента Жиронда.

Республиканское меньшинство в Законодательном собрании, поддерживаемое якобинцами и руководимое лидерами жирондистов, легко перехитрило своих противников по Конституции. Их целью было дискредитировать монархию и тем самым подготовить почву для республики. С самого начала жирондисты были ярыми сторонниками войны, отчасти потому, что их безрассудный патриотизм желал заставить всех "тиранов дрожать на своих глиняных тронах", но также потому, что они были справедливо убеждены, что политика войны сыграет им на руку, сделает положение короля отчаянным и будет способствовать смуте, в которой они одержат победу. Верньо, Гваде, Генсонне и другие облекали жирондистские настроения в язык, который, если иногда и был напыщенным, то иногда был превосходным. Палата, полная неопытных теоретиков, все импульсивные и почти все молодые, поддержала прекрасный энтузиазм, который выражали жирондистские ораторы. Бриссо, журналист со множеством странных впечатлений, но с весьма поверхностным знанием дел, возглавил передовую партию и направил их взгляды на дипломатические вопросы. Мадам Ролан взывала к их чувствам щедрой риторикой и гостеприимством. Съез, таинственно двигаясь на заднем плане и дергая за ниточки бесчисленных интриг, разрабатывал их планы и помогал им в советах. В этих условиях жирондистское меньшинство, с его энергией, амбициями и несколько беспринципными замыслами, захватило контроль над событиями и обязало остановившееся, неуверенное большинство принять меры, от которых оно впоследствии не смогло отступить.

Осень и зима 1791-92 годов были заняты всевозможными схемами и контрсхемами. Вся атмосфера была пронизана интригами. Записи каждой недели пестрели свидетельствами беспорядков, на которые власть имущие, казалось, не обращали внимания. Состояние Европы уже вызывало тревогу, и жирондисты, в поисках своей "второй и великой революции", решили обратить ее в свою пользу. Ассамблея ничего не знала о дипломатии, о мирных взглядах Леопольда, о нежелании королевы идти на риск войны. Они видели, как объединяются государи Европы. Они видели, как эмигранты собираются за границей, а большинство старого духовенства разжигает недовольство внутри. Они верили, или республиканцы среди них, что король подстрекает державы к войне и что королева

возглавляет тайный "Австрийский комитет", который, собираясь в Тюильри, замышляет заговор против свобод Франции. Соответственно, они принялись обличать эти опасности и требовать энергичных мер против них. В октябре и ноябре были приняты декреты, призывающие Месье и эмигрантов вернуться, предписывающие непокорным священникам принять Конституцию и налагающие суровые наказания за неповиновение. Декрет, направленный против его родного брата, Людовик подтвердил, но на два других декрета наложил вето; разумеется, применение вето еще больше усилило его непопулярность в Париже.

По мере того как продолжалась зима, серьезность ситуации углублялась. Байи ушел в отставку с поста мэра Парижа, и Петион, выдвиженец республиканской партии, был избран на его место через голову Лафайета, с большим большинством голосов на очень небольшом участке. Монморин, министр иностранных дел, подал в отставку, и его сменил де Лессарт, человек безразличных способностей, находившийся под влиянием Барнава и Ламетов. Последовали и другие перестановки в министерствах. Бертран де Моллевиль, убежденный сторонник короны, был назначен морским министром; а в начале декабря Нарбонн, блестящий молодой человек, модный и способный, вознесенный к власти благодаря помощи Лафайета и интригам мадам де Сталь, на короткое время стал военным министром. Но эти перемены ничего не дали для укрепления правительства. В то время как де Лессар и Ламеты боялись войны и надеялись, что державы окажут давление в пользу умеренной партии во Франции, Нарбонн с головой ушел в военные приготовления. Он верил, что война укрепит корону, и решил добиться расположения народа от имени короля, приобщив Людовика к патриотическим чувствам. Тем временем Лафайет, с характерной для него неосмотрительностью, не обращая внимания на предостережения более мудрых лидеров Конституции, одержимый своей любимой идеей нести американскую свободу в Европу и, возможно, соблазненный большими перспективами, которые война открывала бы для его собственных амбиций, поддерживал Нарбонна в его военных замыслах и неуклонно поощрял партию войны в Ассамблее.

К удивлению жирондистов, лидеры якобинцев заняли совершенно иную позицию. Опасаясь, что объявление войны усилит власть правительства и укрепит руки ненавистного Лафайета, якобинцы стали отделяться от Жиронды и выступать против идеи кампании. Несомненно, их оппозиция отчасти объяснялась тем, что многие из них в принципе были против войны, хотя в дни якобинского триумфа этот принцип, как и другие, должен был быть отброшен на задворки. Но если их оппозиция объяснялась тактическими и партийными соображениями, то это свидетельствует о странном недостатке политической проницательности, поскольку из всех существовавших тогда партий якобинцы были наиболее заинтересованы в том, чтобы получить выгоду от начала военных действий. Бриссо и жирондисты ясно видели это и тщетно пытались убедить своих союзников. С этого момента соперничество между Робеспьером и Бриссо стало горьким и острым. Но якобинские политики позволили своему страху перед исполнительной властью увлечь их за собой. Все, что делает правителей могущественными, должно, по их мнению, быть опасным для свободы. Дантон, Робеспьер, Марат и Бийо-Варенн - все они придерживались одного и того же мнения, а Якобинский клуб громко протестовал против требования войны.

Но жирондисты одержали верх. Маневры Лафайета, их собственный энтузиазм и воинственный нрав нации - все это помогло их замыслам. Планы Нарбонна действительно рухнули, и в начале марта 1792 года он был уволен из министерства, с большинством которого не соглашался. Но партия войны отомстила за увольнение Нарбонна, изгнав его коллег из кабинета. Людовик, уступая буре и пытаясь вновь, как он иногда делал это раньше,

отождествить себя с Собранием, выбрал новое министерство из народной партии. Ролан был назначен министром внутренних дел, а портфель иностранных дел достался Дюмурье. Дюмурье, обязанный своим назначением жирондистам, к которым он, тем не менее, имел богатый ангажемент, был единственным заметным человеком в правительстве, но он обладал достаточными способностями, чтобы компенсировать все недостатки своих коллег. Слабый в морали и принципах, он был человеком безграничных ресурсов, смелым, амбициозным и в высшей степени ловким. Он приветствовал идею конфликта с Австрией. Он надеялся, как и Нарбонн, заручиться нейтралитетом или союзом Англии и, если возможно, дружбой Пруссии, но был готов рискнуть вступить в борьбу с остальной Европой. Назначение нового министерства дало жирондистам возможность контролировать политическую ситуацию, и с этого момента Франция стремительно погрузилась в войну.

События за рубежом облегчали разрыв. Несмотря на провокации со стороны Французского собрания, Леопольд упорно держался за мир. Его проницательность подсказывала, что единственный шанс для монархии во Франции заключался в стремлении конституционной партии восстановить порядок. Он был полон решимости укрепить их руки, если сможет, и с этой целью ограничить вмешательство держав совместным дипломатическим давлением в их пользу. Но в начале марта 1792 года Леопольд внезапно умер. Его наследник Франциск, лишенный такта и умеренности своего отца, взял другой тон и проявил меньше терпения. Шансы на эффективное давление со стороны держав уменьшались, так как на горизонте замаячила перспектива войны. Язык Франциска был достаточно резок, чтобы дать Ассамблее предлог, которого она так жаждала, и 20 апреля Людовик, на фоне всеобщего энтузиазма, обратился к Ассамблее и объявил войну Австрии. Последствия этого судьбоносного шага не поддаются никакому преувеличению. Он разрушил лучшие надежды Революции и подготовил почву для военного деспотизма в будущем. Все, кто колебался, все, кто чувствовал, что были совершены ошибки, но еще надеялся, что их можно исправить, все, кто верил, что Революция еще может оправдать себя, сочетая свободу с порядком, увидели, что вынуждены выбирать уже не между порядком и беспорядком, а между старой системой и новой, между древней монархией и свободой, между делом своей страны и делом захватчиков. Если бы не было войны с Европой, во Франции никогда бы не произошел поразительный эпизод триумфа якобинцев, худшие эксцессы поздней Революции, все преступления и слава Террора.

Следует четко понимать, что даже после объявления войны друзья монархии, желавшие, чтобы Революция приостановилась, составляли подавляющее большинство как в Париже, так и во всей Франции. Но они были неорганизованны и часто слабовольны, разделены на множество различных групп, завистливы и недоверчивы друг к другу, во многом руководствуются личными мотивами, не имеют четкой политики, не способны действовать лояльно вместе и не способны действовать разумно, даже если бы они могли объединиться. Барнав и Ламетты не доверяли Лафайету. Лафайет не доверял Дюмурье. Более сильные роялисты не доверяли Барнаву. Король не доверял всем одинаково. На другой стороне была менее многочисленная, но более активная партия, полная энтузиазма и дерзости, не лишенная, правда, вражды и разногласий, но все же лучше организованная, чем ее противники, готовая начать политику опасностей и надеяться, что будущее обернется против нее. При таком положении дел началась война, последствия которой вскоре стали очевидны. Она сделала свержение Людовика почти несомненным. Она провела резкую линию между теми, кто был на стороне Франции и Революции, и теми, кто был на стороне эмигрантов и захватчиков, линию, которая поставила короля на одну сторону, а подавляющее большинство его подданных - на другую. Она объединила всех патриотов в партию, которая взяла на себя защиту страны. Она сделала якобинцев, которых осуждали

враги, героями народного сопротивления. Она заставила впасть в беспомощное бездействие всех тех, кто хотел порядка и короля, но не мог поднять голос или руку за Людовика, если тем самым ослаблял единство Франции. Он сделал возможным, хотя и не вызвал необходимости, Террор, поскольку превратил всех противников Революции в предателей. Он сразу же привел к национальной опасности, а через опасность - к панике и смятению. В смятении элементы беспорядка, уже процветавшие во Франции и наученные безнаказанностью опытом последних двух лет, бесконтрольно подняли мятеж, и патриотизм стал отождествляться с преступлением.

События развивались стремительно. В конце апреля кампания началась с попытки вторжения в Бельгию. Но французские войска были дезорганизованы, их командиры робки и неспособны; две французские дивизии потерпели позорное поражение, а генерал одной из них был убит своими людьми. "Вы ушли как безумцы, - с горечью писал Дюмурье, - а вернулись как дураки". Плохие новости с фронта усилили волнение в Париже. Очередной министерский кризис привел к назначению Сервана, сурового республиканца, на пост военного министра. Нападки на королеву удвоились. Беззаконие политиков на улицах усилилось. Жирондисты, решив ослабить монархию, упразднили конституционную гвардию короля, проголосовали за изгнание всех непримиримых священников и постановили создать в непосредственной близости от столицы лагерь из двадцати тысяч человек из департаментов. С зимы парижские толпы были вооружены пиками, и, видимо, жирондисты, зная, что влияние якобинских лидеров на парижское население больше, чем их собственное, хотели иметь под рукой сильные силы пламенных революционеров, отличных от парижан, на которые они могли бы опереться. Король, однако, не одобряя этих предложений и утомленный учтивой грубостью своих министров, отказался санкционировать формирование лагеря и преследование непримиримых священников. Тогда мадам Ролан от имени своего мужа напала на него в глупом и дерзком письме, и Людовик, охваченный необычным раздражением, 12 июня уволил своих советников-жирондистов. На какое-то время во главе дел остался Дюмурье, но, обнаружив, что не может склонить Людовика к своим взглядам, через несколько дней он тоже подал в отставку и принял командование в армии. Воспользовавшись случаем, Лафайет предпринял яростную атаку на Дюмурье, превратив во врага человека, в котором мог бы найти бесценного союзника. Людовик опирался на новое министерство, состоявшее из личных друзей Лафайета, а генерал обратился к Собранию с письмом, в котором осуждал и угрожал партии якобинцев. После этого толпа Парижа, одинаково встревоженная увольнением жирондистов и тоном Лафайета, подняла мятеж и 20 июня вторглась в Тюильри.

Восстание 20 июня, которое готовилось уже некоторое время, не было делом рук республиканских лидеров. Жирондисты держались в стороне, а Дантон и Робеспьер препятствовали этому предложению. Это было полностью делом рук подчиненных партии во главе с Сантерром. Почти до последнего ответственные лица сдерживались. Даже 10 августа лидеры жирондистов, месяцами добивавшиеся свержения трона, колебались, когда победа была уже в их руках. Они стали бояться своих союзников-якобинцев, а якобинцы, зная о малочисленности своих сил, все еще опасались силы своих противников. За неудачным бунтом 20 июня последовала короткая реакция в пользу короля. Лафайет приехал в Париж, осудил бунтовщиков в зале заседаний Ассамблеи, предложил закрыть клуб якобинцев и вывезти короля из Парижа. Национальные гвардейцы и парижские буржуа, потрясенные оскорблением, нанесенным государю, проявили готовность сплотиться вокруг Лафайета. Один из новых министров, Террье де Монсьель, был человеком весьма энергичным и проницательным. Он призывал короля отдать себя в руки конституционной партии, с их помощью бежать из Парижа и обратиться к Франции. Но Людовика, даже в его отчаянном

положении, нельзя было склонить к сердечным отношениям с Лафайетом. Он предпочел довериться главе случайностей и ждать, когда союзники избавят его. Предложения генерала были встречены холодно. Благоприятный момент был упущен. Лафайет, естественно обиженный и всегда неспособный к решительным действиям, вернулся униженным в свою армию. Схемы Монсьеля были отвергнуты, и в начале июля он и его коллеги подали в отставку. Двор сознательно отбросил свой последний шанс на безопасность.

В течение всего июля в Париже нарастало волнение. 11 числа Национальное собрание объявило, что страна находится в опасности, и выступило с волнующим призывом к добровольцам. Республиканцы снова начали спланироваться, а прибытие фельдъегерей из департаментов на празднование взятия Бастилии, хотя и было частично сдержано энергичными действиями Монсьеля, обеспечило их необходимыми силами. Войскам линии, оставшимся в столице, было приказано выступить на фронт. Руководители восстания 20 июня, действуя вместе с фельдъегерями из провинций и поддерживаемые на этот раз якобинскими лидерами, приступили к организации восстания в революционных секциях Парижа. Обличения короля и Лафайета, запугивание депутатов на улицах удвоились. Реакционная партия усиливала волнение, пророча скорую месть захватчикам. Союзные войска наконец начали проявлять признаки активности, и в конце июля герцог Брауншвейгский, их главнокомандующий, издал манифест, обращенный к французскому народу.

Идея манифеста возникла у самого Людовика. Еще до конца мая, действуя по совету Малуэ и Монморина, он отправил Малле дю Пана с конфиденциальным посланием к союзным государям во Франкфорт. В этом послании он умолял державы придерживаться политики Леопольда и ясно дать понять, что их цель - не расчленение Франции и не восстановление запрещенных классов, а лишь освобождение короля, чтобы он мог подавить якобинцев и изменить конституцию в интересах порядка и свободы вместе взятых. Цели Людовика не были недостойными, но политика, с помощью которой он пытался их достичь, была безнадежно ошибочной. Даже если бы союзники последовали его совету, никакие аргументы не смогли бы сделать вторжение приемлемым для французов. А после объявления войны вероятность того, что к его советам прислушаются, была невелика. После начала военных действий влияние эмигрантов за рубежом возросло. Они не обращали внимания на предостережения Людовика. Они с негодованием отбросили умеренные формулировки, предложенные им Малле дю Паном, и придали манифесту герцога Брауншвейгского свой собственный дух. В результате манифест с его жестокими и иррациональными угрозами вызвал дичайшее негодование во Франции, побудил весь народ протестовать против него и немедленно способствовал низложению короля.

Наконец, в начале августа наступил кризис. Манифест союзников, прибытие из Марселя группы ревностных республиканцев-федератов и окончательный разрыв между королем и Жирондой ускорили восстание. Муниципальные власти свободно раздавали патроны в Фобур-Сент-Антуан, в то время как Национальной гвардии в боеприпасах было отказано. Лидеры восстания в секциях завершили свою организацию и уладили дела с чиновниками Коммуны. Любопытно отметить, что почти в самом конце жирондисты, напуганные успехом якобинцев, попытались предотвратить восстание и на компромисс с королем. Если бы Людовик был готов заменить их на посту и безоговорочно принять их условия, кажется почти уверенным, что они в последний момент порвали бы с якобинцами и, несмотря на свой хваленый республиканизм, встали бы на сторону короля. Но Людовик не слушал никаких уговоров, и они оставили его на произвол судьбы. Любопытно также отметить, насколько малочисленными - даже в это время острого возбуждения и революционного триумфа - были

батальоны мятежников, как мало избирателей поддержали их в секциях, как трепетали главы партии за результат и как трудно им было собрать адекватную и внушительную силу. Если бы у защитников Тюильри был лидер, который вдохновил бы их, если бы Людовик хоть раз отбросил сентименты и продемонстрировал вспышку решительного мужества, восстание могло бы быть разгромлено, а толпа рассеяна. Наполеон, наблюдавший за происходящим из окна и заявивший впоследствии на острове Святой Елены, что зрелище в саду Тюильри в сумерках было ужаснее, чем на любом из его полей сражений, считал, что, если бы Людовик использовал свои возможности, он легко мог бы одержать победу. Но нерешительность, ставшая его гибелью, преследовала короля до последнего, и 10 августа закончилось взятием Тюильри и уничтожением трона.

Шесть недель, которые последовали за победоносным восстанием, были неделями сильного волнения в Париже. Две партии республиканцев делили добычу. Ролан и его коллеги вернулись к власти, а Дантон был назначен министром юстиции. На мгновение Дантон стал самым заметным человеком во Франции. Молодой адвокат с характерной для него неустрашимостью и пылкостью бросился в революционное движение. Бесшабашный, циничный, беспринципный, Дантон носил на себе печать величия. Он был королем, подходящим для буйных, амбициозных духов, которых Робеспьер был слишком робким теоретиком, а Марат - слишком мрачным фанатиком, чтобы вдохновить. Его физическая сила, его звенящий голос, его красноречивая фантазия, его яростное презрение к маленьким людям и маленьким мерам, грубая, но искренняя доброта его натуры и его настоящий энтузиазм в отношении своей страны и свободы неотразимо взывали к воображению его последователей. Где бы он ни появлялся, будь то в клубе Кордельеров в первые дни революции, или позже, среди чиновников департамента Сены, или, еще позже, в Парижской коммуне, он производил глубокое впечатление, и после 10 августа он, естественно, стал лидером. Безусловно, у Дантона были серьезные недостатки. У него было слишком мало принципов и угрызений совести, мало возвышенности характера, не было утонченности ума. Но все же вокруг него витает некая атмосфера величия. Его патриотизм и мужество не подлежат сомнению. Его проницательность и способность к государственному управлению заметно контрастируют с неспособностью его соратников. Ни один человек не научился большему или более быстрому опыту. А о его непревзойденной силе и влиянии есть сотни доказательств.

В подготовке восстания 10 августа Дантон принимал самое активное участие. Он был вознагражден высоким постом в правительстве, и его действия во время последовавшего кризиса характерны для этого человека. Он душой и сердцем бросился на защиту страны. Он чувствовал, что единственной насущной необходимостью является удержание Парижа от захватчиков. Он знал, что его партия составляет незначительное меньшинство и что и в Париже, и во Франции полно людей, готовых пойти против них и на компромисс с союзниками. Он считал, что для спасения Франции и оправдания Революции могут потребоваться жестокие меры, и он был готов к ним прибегнуть. "Мы должны заставить, - кричал он, - роялистов бояться". Все лидеры якобинцев были с ним согласны. Они видели, что их единственный шанс на безопасность заключается в том, чтобы парализовать своих врагов террором. Но некоторые из них, естественно, колебались в выборе средств. С каждым днем опасность возрастала. 20 августа Лафайет, после тщетной попытки склонить свою армию к походу на Париж, бежал за границу. Союзники быстро продвигались вперед. 23 августа Лонгви, одна из крупных пограничных крепостей, сдалась с позорной поспешностью. 2 сентября сдался и Верден, и дорога на Париж была открыта для захватчиков.

В это время страшного волнения Дантон и его соратники несли все на себе. По требованию Робеспьера был создан специальный трибунал для суда над предателями. Имущество эмигрантов было конфисковано. Непримиимые священники были осуждены на каторгу. Были приняты срочные меры по сбору войск, и все граждане, как активные, так и пассивные, были зачислены в Национальную гвардию. Под эгидой Восставшей коммуны в домах проводились обыски, изымалось оружие, а подозреваемые бросались в тюрьму. Пока в городе звучал набат, Дантон поднимал дух Собрания. "Колокол тревоги, который вы слышите, не является сигналом опасности. Он возвещает о врагах вашей страны. Чтобы победить их, вы должны дерзать, дерзать и еще раз дерзать, пока Франция не будет спасена". Восставшая Коммуна, все еще обладавшая властью, которую она узурпировала 10 августа, взяла на себя диктаторские полномочия, одержала верх над министрами и Собранием и воплотила предупреждение Дантона в жизнь. Париж охватила паника, и ответом на позорную капитуляцию Вердена стала знаменитая резня в тюрьмах в сентябре.

Точную ответственность за эту бойню установить непросто. Ее непосредственной причиной, несомненно, стала паника, в которую вверх Париж наступление союзников. Ужас момента породил гражданскую войну между теми, кто чувствовал, что борется за свою жизнь, и теми, кто должен был быть друзьями захватчиков. В этой войне победили более отчаянные, а слабая сторона пала. Несомненно, завоевание было достигнуто с помощью грубиянов. Кризис крайней опасности, когда ходят слухи и зреют подозрения, выводит на поверхность многие элементы беспорядка. Древний режим оставил в Париже достаточно материала для преступлений. Он приучил бедняков к невежеству и жестокости. Он создал класс людей, для которых жалость и процветание были одинаково неизвестны. Историки долгое время спорили о том, была ли виновата восставшая Коммуна или это движение было спонтанным. Несомненно, лидеры Коммуны - Панис, Сержан, Эбер, Бийо-Варенн, а также их проводник и коадьютор Марат - по меньшей мере поощряли и одобряли его. Это была политика Марата, которая наконец-то восторжествовала. Но, по правде говоря, Париж должен разделить ответственность, потому что в те дни кровопролития, хотя число убийц было очень невелико, никто не вмешивался. Законодательное собрание наблюдало за происходящим, несомненно, с тяжелым чувством сострадания, но в действительности с безразличием. Добровольцы, Национальная гвардия, огромное количество парижских граждан стояли в стороне, безразличные или трусливые. Робеспьеру, возможно, было трудно примирить эту бойню со своей сентиментальной любовью к добродетели; но, хотя он и был тогда членом Коммуны, он ничего не сделал, чтобы остановить ее ход. В конце концов, он всегда мог убедить себя в том, что убийство - это справедливость народа. Дантон, обладавший более жесткой логикой и смелостью, считал, что необходимо парализовать роялистов, и сознательно отказался от вмешательства. Некоторые жирондисты пришли в ужас и предприняли честные попытки остановить кровопролитие, но попытки эти были безрезультатны. Другие жирондисты, похоже, считали его неизбежным, если хотели сохранить Республику. Ролан впоследствии слабо пытался смягчить его. Петион предложил убийцам подкрепиться. Дело в том, что лидеры жирондистов сами подвергались подозрительной враждебности со стороны Коммуны и были бессильны или не склонны действовать .[9]

За вспышкой в Париже последовали аналогичные вспышки в других местах. Но продолжение резни показало лидеров якобинцев в лучшем свете. Под руководством Дантона в правительство проник новый дух. Тысячи новобранцев хлынули во французский лагерь, и Собрание назначило главным командиром гениального солдата в лице Дюмурьева. Быстрый успех захватчиков оказался во многом обманчивым. Падение французских крепостей объяснялось не столько доблестью врага, сколько предательством защитников.

Союзные державы отнюдь не были едины во мнениях. Их генералы и советники не отличались ни блеском, ни лихостью. Герцог Брауншвейгский уже устал от кампании. Он принадлежал к старой школе солдат и никогда не хотел идти прямым маршем на Париж, оставляя свои коммуникации незащищенными. Он мало симпатизировал эмигрантам. У него было плохое здоровье, и он не был готов к войне. Австрийцы не поддерживали его так сильно, как обещали. Его войска сильно страдали от болезней и плохой погоды. Даже после падения Вердена он был не склонен упорствовать. Поэтому, когда Дюмуре собрал свои силы в Вальми и, рискнув вступить в бой 20 сентября, сумел остановить продвижение противника, герцог воспользовался возможностью уйти в отставку, кампания была прекращена, а Париж спасен.

От Вальми победа покатила дальше. Дюмуре продолжил свой успех битвой при Жемаппе и завоеванием Бельгии. Но весной 1793 года фортуна отвернулась от него, и Дюмуре, как и Лафайет, бросил свой пост и бежал. Летом 1793 года союзники вновь угрожали наступлением на Париж. И снова страх перед вторжением укрепил руки партии террористов. И снова был найден новый генерал, и снова энергичные якобинцы одержали победу. Молодая республика вновь одержала победу, и после зимы 1793 года всякая опасность со стороны границ исчезла. Война приобрела новый характер. Она превратилась в пропагандистскую войну и охватила всю Европу. Она нашла на ее границах древнее общество, уже находившееся в состоянии распада, которое, лишенное патриотизма, энтузиазма и популярности, рассыпалось на куски перед ее натиском. Тогда, забыв о своих филантропических принципах, она вернулась к практике прошлого и в своих отношениях с Европой приняла дух той системы, на которую напала. В итоге Французская революционная война не уничтожила тиранов и не объединила человечество. Она уничтожила многие старые ориентиры. Она разрушила многие феодальные барьеры. Она сместила множество маленьких деспотий. Она еще резче обозначила разделение между различными народами. Она теснее сплотила их вокруг своих государей. Она расчистила почву для роста современной Европы. Неосознанно и жестоко она заложила основы той единой Германской империи, которая в один прекрасный день должна была страшно отомстить Франции. Но старый порядок, усовершенствованный и измененный таким образом, был слишком силен, чтобы умереть. В конце концов он покорил своих завоевателей, а герой победившей Революции женился на племяннице Марии-Антуанетты.

ССЫЛКИ:

[8] Некоторые современные авторы оценивают численность армии Конде очень низко, не более чем в 3000 или 4000 человек. М. Сорель, который всегда является ценным авторитетом, считает, что в октябре 1791 года их было 10 000. Г-н Морс Стивенс называет гораздо более высокую цифру.

[9] Нельзя с уверенностью утверждать, что Мятежная коммуна организовала или оплатила эту резню, но несколько фактов указывают на это. Этот вопрос подробно рассматривается в книге М. Мортимера-Терно *"История Терраса"*, том iii. Приложение XVIII, и у месье Луи Блана в примечании ко второй главе восьмой книги его истории.

ГЛАВА VIII.

Падение Жиронды.

Первое заседание Национального конвента состоялось 21 сентября 1792 года. Парижские депутаты, избранные за две-три недели до этого под взглядом мятежной Коммуны, почти полностью принадлежали к партии якобинцев. Их выборы являются показательным примером методов якобинской организации, и в этих выборах Робеспьер, всегда бдительный проводник, продемонстрировал ловкость своей тактики и принял самое активное участие. Собрание выборщиков состоялось 2 сентября, в день, когда началась резня в тюрьмах. Не успели выборщики собраться, как по распоряжению Коммуны их перевели с обычного места заседаний в Якобинский клуб. Некоторые из выборщиков, придерживавшиеся умеренных взглядов, были исключены путем предварительного голосования. Система тайного голосования была отменена, и все должны были голосовать открыто перед аудиторией, которая громко и настороженно аплодировала. По признанию одного из якобинских ораторов, его партия "была бы побеждена даже в Париже на любых выборах, где голосование было бы тайным". В результате победили крайние политики. Робеспьер, Дантон, Марат и Колло д'Эрбуа были среди самых известных избранных депутатов, а все герои восставшей Коммуны были с триумфом введены в состав Конвента.

В провинциях, однако, якобинцы были менее успешны. Там тоже победило меньшинство, и большинство избирателей не пришли на избирательные участки. Но все же меньшинство в провинциях представляло собой значительную часть общественного мнения. Повсеместно результатом выборов стало подтверждение *государственного переворота* 10 августа. Все, кто еще принимал участие в политике, казалось, понимали, что дело короля несовместимо с защитой страны, и предпочитали ставить интересы страны на первое место. Следствием этого стало то, что партия жирондистов получила большое число сторонников в новой Ассамблее. Якобинцы, правда, были более компактны и энергичны, а подавляющее большинство членов в центре не имело определенных взглядов, и от них нельзя было ожидать последовательного голосования. Но все же позиции жирондистов были сильны. В их руках находилось руководство правительством. У них были красноречивые и эффективные ораторы. У них было несколько людей с характером и способностями. За ними стоял вес умеренного мнения, которое было потрясено страшными сентябрьскими беспорядками. Резня вызвала реакцию, которая теперь, когда опасность вторжения миновала, имела тенденцию к укреплению рядов жирондистов. Если бы жирондисты обладали хоть какой-то организацией, хоть каким-то инстинктом управления партией, хоть какими-то авторитетными и проницательными лидерами, они могли бы составить мощную партию и еще направлять Революцию.

Но, к сожалению, ничего этого у жирондистов не было. Верньо, их самый великолепный оратор, не обладал качествами, необходимыми для лидера. Гваде и Генсонне, два блестящих сторонника, которые сопровождали его из Бордо, были не лучше способны руководить партией. Петион, бывший мэр, уже доказал свою некомпетентность. Ролан, при всей его честности и стремлении к порядку, не обладал ни реальными способностями, ни силой. Кондорсе, философ с Жиронды, привнес в занятия политикой все характерные пороки академического ума. Барбару, герой марсельцев, отличался от остальных только красотой. Иснар и Луве, Ланжуайне и Горсас не могли восполнить то, чего не хватало их коллегам. В самой партии не было сплоченности. Бриссо, который некоторое время был ее лидером, не мог долго удерживать свое превосходство и обнаружил, что его авторитет оспаривается растущим авторитетом Бузо. Постепенно в рядах Жиронды выросли две группы - Бриссотини и Бузотины, и перспективы единых и решительных действий со стороны большинства Дома стали еще более отдаленными, чем прежде.

Бузот был во многом обязан мадам Ролан влиянию, которым он пользовался в своей партии. Ее дом был излюбленным местом отдыха жирондистов. Их политика во многом определялась в ее гостиной. Ее муж был их главным представителем в правительстве, и ее интерес к политике мужа был так же хорошо известен, как и ее привязанность к Бузоту. Мадам Ролан известна нам по портрету, который она сама нарисовала, и этот портрет ясно показывает нам ее несомненное мужество и способности, ее энтузиазм к философии, которую она изучала, и к идеалам, которые любило ее яркое воображение. Но мемуары показывают нам также самосознательный гений писательницы, ее быстрые, но довольно поверхностные суждения, сильный личный элемент в ее мнениях, плохо контролируемую, честолюбивую неугомонность ее щедрого и пылкого ума и ее неспособность к умеренности, к справедливости по отношению к противникам или нежности по отношению к павшим врагам. Какую роль мадам Ролан сыграла в политике, точно сказать невозможно. Мы знаем о ее словах и поступках в нескольких случаях, и те, несмотря на очарование и романтику, которыми она окружена, не всегда достойны ее головы и сердца. Она умерла храбро, и потомки, признавая это, возможно, были щедры к ее добродетелям. Но в той мере, в какой она вдохновила жирондистов, ее политическое влияние можно расценивать только как катастрофическое, ибо никогда не было партии, которой давали бы худшие советы.

Другие женщины, справедливые и несправедливые, прекрасные и нелюдимые, появляются в истории Французской революции. Это были салоны первых дней, где роялисты собирались в домах мадам де Шамбонас и мадам де Сабран, а другая сторона находила более приятную компанию в комнатах мадам де Богарне и Тальма. Здесь был салон мадам де Генлис с его традициями орлеанистских интриг, официальное общество круга мадам Неккер и общество молодых, хорошо воспитанных реформаторов мадам де Брольи. Позже появился салон мадам де Сталь, где опытная хозяйка отстаивала интересы Нарбонны так же преданно, как мадам Ролан отстаивала интересы Бузо, и хорошо освещенные столы мадам де Сент-Амарант, которая рассчитывала на прибыль от принятых ею гостей. Были и более тихие, но счастливые дома мадам де Кондорсе и Люсиль Десмулен. Не менее счастливыми были женщины, которых любили Дантон, Робеспьер и Сен-Жюст. Королева, всегда галантная и несчастная, но в своем политическом влиянии самая несчастная из всех; Шарлотта Кордей, жирондистская мстительница, чей энтузиазм скрывал от нее уродство убийства; Тереза Тальен, отдавшая свою жизнь и честь ничтожному человеку и использовавшая впоследствии свою власть в целях милосердия; Олимп де Гуж, незадачливая драматическая актриса и памфлетистка, которая играла свою тройную роль хозяйки, знаменитости и жертвы в Терроре; и многие другие знатные женщины, с высокой или низкой репутацией, с влиянием достойным или недостойным, такие как демуазель де Ферниг, служившая помощницей в лагере Дюмурье, Терионн де Мерикур, известная всем и любимая многими, которая, вооружившись обнаженной саблей, возглавлявшая диких женщин в октябре в Версале, Софи Моморо, руководившая оргиями на празднике Разума, и Роза Лакомб, королева мерзких женщин, которые преследовали клубы, улицы и галереи, позорили Национальное собрание и вязались вокруг гильотины. Странно, но, кажется, бесспорно, что во многих худших эксцессах Революции особенно выделялись женщины с худшим характером, и что, когда политика вырождалась в дикость, женщины без женственности превосходили всех.

Девять месяцев, последовавших за заседанием Конвента, были заняты борьбой между якобинцами и жирондистами. Еще до 10 августа эта борьба началась. После падения Людовика она обострилась; и как только собрался Конвент, вражда соперничающих партий вспыхнула с новой силой. Принципиальные различия между жирондистами и якобинцами определить не так-то просто. Многие принципы они исповедовали общие, и до 10 августа их цели в некоторых отношениях совпадали. Однако одно заметное различие между ними

заключается в характере людей. Якобинцы, в целом, хотя правило и допускает исключения, были людьми более грубыми, иногда малообразованными, грубыми и беспринципными, в некоторых случаях жестокими, во многих - продажными, но практичными, бдительными и бесстрашными политиками, готовыми идти на большой риск, беспощадными к своим врагам, если они побеждали, иногда с отчаянным отчаянием готовыми страдать, если они проигрывали игру. Жирондисты, в целом, были людьми более высокого интеллектуального уровня, более образованными и утонченными, лучшей касты. Они были честными и порядочными. Их намерения были чисты. Их не смущали угрызения совести в борьбе с противниками, у которых их не было. Их отличал прекрасный энтузиазм в отношении своих смутных и иллюзорных идеалов, который, если сейчас он кажется театральным, тогда был подлинным, и которому, сокрушаясь о его расточительности и ошибках, можно отдать дань уважения.

Но когда речь заходит о принципах, разница между двумя партиями становится менее очевидной. Дело в том, что во Французской революции Жиронде не было места. Возможны были две партии, и только две. Одна из них - партия, которая, представляя огромное большинство французских чувств, совершила Революцию, сместила Древний режим, основала первую конституцию и получила свое название от ее создания, партия, которая стремилась установить политическую свободу и новую систему, основанную на ней, во Франции. Эта партия заботилась о свободе и порядке, но не желала большего, и ее ошибки и судьба времени постепенно лишили ее контроля над событиями. Другой была новая партия, пришедшая к власти на ошибках своего соперника, которая мало заботилась о свободе и еще меньше о порядке, но надеялась использовать силы бедствия и недовольства, чтобы захватить власть, которую монополизировал ее соперник, основать новую социальную и промышленную систему, в которой она обеспечит себе более справедливую прибыль, и уничтожить без угрызений совести всех, кто мешает осуществлению ее целей.

Между этими двумя партиями стояли жирондисты. Они не принадлежали ни к той, ни к другой, но в какой-то степени разделяли взгляды обеих. Как и первой, им были присущи умеренность, чувство сдержанности и любовь к порядку. Как и вторые, они отвергали любые компромиссы с прошлым и надеялись создать свою Утопию. Но хотя они были достаточно сильны, чтобы победить первых, они не были достаточно сильны, чтобы противостоять вторым, и они не могли объединиться ни с теми, ни с другими. Они не могли объединиться с конституционной партией или сплотить вокруг себя умеренное большинство, потому что, хотя и разделяли ее чувство приличия, презирали ее догматы и предрассудки, ее короля и ее религию. Они не могли броситься в объятия якобинцев, потому что, хотя им и нравились некоторые из их демократических схем, они не могли смириться с якобинскими эксцессами и якобинскими интригами, с безжалостным нивелированием якобинских максим, с якобинским презрением к собственности и жизни.

Жирондисты также не смогли создать собственную партию. Их идеи не были достаточно определенными для этого и не отличались от идей других. Единственными принципами, которые принадлежали им, были энтузиазм в отношении форм республики и энтузиазм в отношении политики войны. Последнее было отчасти непродуманным чувством, а отчасти тактическим приемом. Первое вообще не было принципом. Суть республиканизма, заключающаяся в управлении государством народом, принималась всеми партиями, кроме самых реакционных, и не была свойственна жирондистским убеждениям. Формы его, которые жирондисты, одержимые необычайным желанием подражать грекам и римлянам, так высоко ценили, едва ли стоили того, чтобы за них бороться. Тот факт, что жирондисты

должны были заботиться о республиканских формах гораздо больше, чем о чем-либо другом, является, пожалуй, самым ярким доказательством их некомпетентности как практических политиков. Ведь, как заметил Робеспьер, республика - это пустое название, которое вера и героизм людей иногда связывали с идеалами чистоты и свободы, но которое часто было лишь маскировкой для правительств, которые не были ни свободными, ни чистыми.

Как только открылся Конвент, была провозглашена Республика, и началась борьба между соперничающими партиями. На данный момент жирондисты были сильнее, и они были полны решимости использовать свою власть, чтобы подавить и, если удастся, наказать лидеров восставшей Коммуны. В этой попытке они частично преуспели. Благодаря настойчивости Ролана, поддержанной большинством Конвента, удалось, наконец, распустить Восставшую коммуну. 30 ноября Шамбон, политик умеренного толка, был избран мэром значительным большинством голосов, после того как два других умеренных политика, Петион и д'Ормессон, были избраны ранее и отказались исполнять свои обязанности. Совет и другие должностные лица коммуны также были обновлены. В этом случае голосование было тайным; и хотя якобинцы не жалели усилий и сумели провести Эбера и Шометта, малочисленность голосов якобинцев и воздержание подавляющего большинства избирателей показали, насколько слабы были численно те силы, которыми могло командовать меньшинство.

Но в других отношениях жирондисты были менее успешны. Их предложения о создании гвардии Конвента привели лишь к тому, что в Париж прибыл небольшой отряд фельетонов из департаментов. Их требование наказать тех, кто был причастен к сентябрьской резне, провалилось сквозь землю. Их нападки на Робеспьера, Марата и других привели лишь к ожесточению, что утомило Собрание и дало Робеспьеру возможность рассказать о своих заслугах перед Революцией и повысить свою популярность в Париже. Якобинцы начали угрожать своей монополии на власть. В середине октября Паше, недавно назначенный военным министром и до этого момента бывший близким другом Ролана, бросился в объятия партии якобинцев. Внезапно ополчившись на своих коллег-жирондистов, Паше сделал военное министерство местом встречи политиков Коммуны, предоставил в их распоряжение свое влияние и свои средства и, к отвращению Дюмурье и Дантона, привел военные мероприятия в замешательство.

Жирондистов еще больше ослабил суд над королем. Долгие дебаты по этому вопросу, начавшиеся в начале ноября 1792 года и закончившиеся казнью Людовика 21 января 1793 года, несомненно, повредили репутации партии. Они наглядно продемонстрировали суровую логику лидеров якобинцев и слабость и разобщенность их противников. Они дали новые возможности для волнений и беспорядков, которыми якобинцы умели пользоваться. Голосование, приговорившее короля к смерти, в итоге прошло с небольшим перевесом, но оно не могло быть проведено без массового запугивания. Ажиотаж в галереях, на улицах, в секциях, который неуклонно нарастал по мере продвижения дебатов и появления симпатий к Людовику, вызвал такую всеобщую панику, что, по некоторым данным, четырнадцать тысяч человек бежали из Парижа в последнюю неделю года, под впечатлением того, что сентябрьская резня вот-вот повторится^[10]. Правда, в конце концов ведущие жирондисты проголосовали за смерть; но они голосовали открыто в присутствии вооруженной и громогласной толпы, достаточной, чтобы решить колеблющихся, и почти достаточной, чтобы утратить храбрецов. Верньо, голосовавший вместе с большинством, когда наступил критический момент, уже просил о пощаде в самой прекрасной речи, которую он когда-либо

произносил, а в ночь перед вынесением приговора заявил, что было оскорблением считать его способным голосовать за смерть Людовика.

После суда над королем деморализация политики усилилась. Конвент утратил всякое достоинство и приличие. Насилие между соперничающими партиями усилилось. Депутаты приходили на заседания палаты вооруженными. Президента, бессильного следить за порядком, часто оскорбляли в кресле. Через весь зал выкрикивались оскорбительные выражения. Голоса ораторов постоянно заглушались шумом с галерей, где, по словам Бриссо, "правили разбойники и шалуны". Такая же деморализация наблюдалась и на государственной службе. После провозглашения Республики в сентябре 1792 года все административные и судебные чиновники были обновлены. Конвенция объявила, что знание законов больше не должно быть необходимым условием для назначения на судебные должности. Образование считалось столь же ненужным, и таким образом в администрацию было привлечено множество невежественных и некомпетентных чиновников. Умножение должностей и мест, столь выгодное для власть имущих, быстро увеличивалось с течением времени, и вместе с духом грабежа распространялся дух коррупции. При Паше военное ведомство превратилось в центр якобинских интриг, где министр и его приближенные могли с успехом демонстрировать свое недоверие к главнокомандующему, подрывать авторитет Дюмурьева в армии и, независимо от его желаний и замыслов, продвигать свои собственные теории и обеспечивать своих друзей.

С начала нового года жирондисты неуклонно теряли позиции. В январе Ролан, их самый активный сторонник в правительстве, сложил с себя полномочия. После этого управление министерством внутренних дел со всеми его полномочиями и ресурсами перешло в руки Гарата, человека с приятными намерениями и умеренными взглядами, но совершенно лишенного силы и решительности и не обладавшего преданностью Ролана Жиронде. В начале февраля Паш, который был вынужден уйти в отставку из военного министерства, к радости Дюмурьева и Дантона, был избран мэром вместо Шамбона, и в его лице якобинцы окончательно восстановили контроль над Парижской коммуной. Примерно в то же время Кондорсе выдвинул предложения жирондистов о новой конституции, предложения дико непрактичные по своей сути, не удовлетворившие никого и придавшие некоторую окраску обвинению, которое якобинцы выдвинули против Жиронды, что они хотят наделить департаменты полномочиями, которые сделают их почти независимыми государствами, уничтожить влияние правительства в Париже и разрушить единство Республики. Жирондисты, не имевшие больших сторонников в столице, приступили к отчуждению тех, кто у них был. Они объявили непримиримую войну Коммуне. Они осуждали беспорядки парижских толп и требовали принятия исключительных законов в свою пользу. Они безрассудно хвастались преданностью провинций себе. Они угрожали сурово наказать любую попытку запугивания со стороны секций, но не предприняли никаких шагов для эффективной защиты от этого. Наконец, они совершили нападение на Дантона, столь же непродуманное, сколь и неспровоцированное, и тем самым оттолкнули от себя единственного человека, который обладал достаточным влиянием и способностями, чтобы спасти их, и который, устав от фракционной вражды и искренне желая основать правительство, достаточно сильное, чтобы заставить себя уважать, мог бы при небольшом такте склонить их к своей мощной поддержке.

Кроме того, ход внешней политики вновь способствовал планам якобинцев. За победой при Вальми последовал ряд успехов на Рейне, в Савойе и Ницце, поражение австрийцев и завоевание Бельгии. Но безрассудная политика Конвента, его пренебрежение договорами и

решимость распространять революционные принципы любой ценой умножали врагов Франции. Решение французского правительства напасть на Голландию оскорбило и встревожило англичан. Казнь Людовика вызвала глубокое и всеобщее возмущение в Европе. В начале 1793 года Англия, не вняв мирным мечтам Питта и разбуженная предостерегающими звуками горячего гнева и воображения Берка, ввязалась в войну. Испания под властью принцев Бурбонов последовала ее примеру. Трудности французских войск возрастали по мере того, как падали их дух и дисциплина. Союзные армии возобновили наступление. В начале марта череда неудач постигла французские войска, и от вторжения в Голландию пришлось отказаться. 18-го числа Дюмуре с главной армией был разбит австрийцами в битве при Неервиндене, и Бельгия была потеряна. Дюмуре, разочарованный таким поворотом событий, давно уставший от якобинского правления и обдумывавший способы его свержения, отверг дружеское ободрение Дантона, открыто заговорил о восстановлении конституционного трона и решил выступить против Конвента. Конвент, зная о его замыслах, послал комиссаров арестовать его в его лагере. 3 апреля Дюмуре покинул свою армию и укрылся в австрийских рядах, что в конце концов было сорвано его собственной нерешительностью и апатией его войск. Французский полководец снова дезертировал перед лицом катастрофы, и опасность вторжения возникла вновь.

События на границе немедленно отразились на политике в Париже. Дантону наконец удалось убедить Собрание в абсолютной необходимости сильной исполнительной власти. В конце марта - начале апреля Конвент принял ряд декретов, которые впервые с начала революции создали во Франции сильное правительство и одновременно учредили или реорганизовали три главных инструмента террора. Одним декретом был создан Революционный трибунал - суд с упрощенной процедурой и чрезвычайными полномочиями для суда над заговорщиками против государства; другим - знаменитый Комитет общей безопасности для розыска и наказания политических преступников; третьим - еще более знаменитый Комитет общественной безопасности, которому вскоре предстояло стать самой грозной деспотией в истории мира. Вместе с этими декретами последовали и другие энергичные меры - новые полномочия для комиссаров, "представителей в миссиях", отправленных в провинции для исполнения приказов Конвента; новый сбор 300 000 человек для кампании, которые должны были быть собраны, если потребуется, путем призыва; новые декреты, налагающие наказания на эмигрантов и священников, не участвующих в священнодействии, объявляющие вне закона всех врагов Революции и учреждающие в каждом парижском квартале комитет по надзору, вооруженный деспотическими полномочиями, чтобы следить, разоружать, арестовывать и облагать налогами всех политиков другой стороны. Национальная опасность вновь призвала на фронт бдительное меньшинство, которое создало деспотию, чтобы спасти Революцию, и потащило за собой неохотное большинство.

Насколько во всех этих мерах якобинцы действовали из патриотических побуждений, а насколько просто работали на благо своей партии, вряд ли можно сказать. Мотивы Дантона не подлежат сомнению, и многие другие, возможно, заслуживают того, чтобы быть связанными с ним в своей любви к Франции. Вероятно, якобинцы, как и другие политики, верили или легко могли убедить себя, что дело страны и их партийные интересы - одно и то же. Но каковы бы ни были мотивы, несомненно, что результатом всех этих мер стало усиление якобинцев и ослабление их соперников, хотя в большинстве случаев к ним присоединялась Жиронда.

Однако были и другие меры, принятые весной 1793 года, которые мало соответствовали жирондистским идеям и были обязаны своим происхождением исключительно якобинцам.

Экономические причины способствовали усилению волнения в Париже. Несмотря на продажу церковных земель и имущества эмигрантов, финансовое положение правительства было крайне неудовлетворительным. Налоги выплачивались плохо. Кредит государства опустился очень низко. Расходы на войну и управление росли с каждым днем. Получить деньги было очень трудно. В связи с этим правительство прибегло к новой эмиссии ассигнатов, и их стоимость неуклонно падала. В то же время цены росли с пугающей быстротой. Торговля, и без того смятенная неразберихой того времени, стремилась из Парижа, где ассигнатов было больше всего. Спекуляция, естественно, усилилась. Крупные торговцы, подрядчики и капиталисты получали значительные прибыли, закладывая запасы, придерживая товары и используя колебания рынка в своих интересах. Правда, в начале 1793 года заработная плата также начала быстро расти из-за большого количества призывников, отправлявшихся из Парижа на войну. Но заработная плата рабочего класса выплачивалась не деньгами, а обесценившимися ассигнатами, поэтому, хотя бедняки и почувствовали рост цен и нехватку продовольствия, и возмутились видимым процветанием торговцев, чьи махинации осуждали их лидеры, они не ощутили всех преимуществ роста заработной платы, и их гневное недовольство усилилось. Экономика обездоленных всегда слепа. Их легко убедить в том, что богатые наживаются на системе, которая приносит им одни страдания.

В результате в бедных районах города поднялась волна протеста против всех спекулянтов и капиталистов. Были выдвинуты требования жесткого регулирования торговли, обеспечения дешевых продуктов питания, установления цен и принятия обязательных законов для поддержания стоимости бумажных денег. Коммуна подхватила народный клич и с успехом потребовала от казначейства крупных субсидий, чтобы обеспечить капитал хлебом. Марат, как обычно, обличал своих противников и подстрекал народ к самопомощи; в конце февраля подстрекательство Марата привело к нескольким грозным беспорядкам, в которых многие торговцы, не принадлежавшие к якобинцам, понесли серьезные потери. Вожди Горы, то есть лидеры якобинцев в Конвенте, которые не имели достаточных экономических знаний и, видя бедствия и нехватку, считали возможным покончить с ними с помощью произвольных законов, поддержали требование исключительных мер. Равнодушные члены Центра, чье знакомство с экономическими законами было, вероятно, не шире, чем у Гор, дали свое согласие на предложения, которые, как они надеялись, успокоят Париж и предотвратят восстание. Дантон предложил, чтобы цена на хлеб регулировалась уровнем заработной платы. В апреле и мае Конвент принял ряд суммарных декретов, предусматривавших жесточайшие наказания для всех, кто торговал валютой, установил максимальную цену на зерно и обложил богатых тяжелым налогом в виде принудительного займа.

Эти меры, опять же, повредили жирондистам в Париже. Они как партия яснее, чем их противники, понимали опасность произвольного вмешательства в цены и торговлю. Некоторые из их лидеров выступили против предложений Коммуны и даже осмелились протестовать против субсидий, потраченных на обеспечение столицы дешевым хлебом. Но их протесты только усилили их непопулярность в Париже и привели к требованиям их наказания и смещения, к новым угрозам и доносам. 10 марта в некоторых секциях вспыхнуло новое восстание с целью пойти на Конвент и избавиться от жирондистов силой. Но лидеры якобинцев отнеслись к нему с недоверием, и оно закончилось безрезультатным бунтом. Однако тревога, вызванная плохими новостями с границы, усилила политическую лихорадку, а вместе с ней и риск восстания. В марте и апреле опасность усилилась из-за серьезного восстания в Вандее, которое, начавшись с отдельных вспышек, вызванных воинской повинностью и местными причинами, переросло в широкое политическое движение в поддержку монархических идей и своим духом и успехами, казалось, угрожало безопасности Республики.

В то время как жирондисты колебались и теряли позиции, якобинцы были организованы и готовились к битве. За их спиной был весь авторитет Парижской коммуны, престиж известных лидеров Горы и силы двух великих клубов. Благодаря апатии своих противников они получили контроль над большинством секций. Практически в их руках была и военная сила. После 10 августа Национальная гвардия была заново сформирована в сорок восемь батальонов, по одному на каждую секцию. Артиллерия гвардии была организована отдельно, и артиллеристы, набранные из беднейших слоев населения, составляли ту силу, на которую якобинцы могли положиться. Старые буржуа больше не появлялись, но платили санкюлотам, чтобы те выполняли за них их обязанности; а ядро боевых сил составляли люди 10 августа и 2 сентября, на которых можно было положиться в случае необходимости Коммуны. Кроме того, в середине мая Коммуна приказала набрать особый отряд санкюлотов, который впоследствии был организован как Революционная армия. Кроме того, якобинцы контролировали полицию. Каждая секция имела своих выборных комиссаров полиции, действующих под руководством Коммуны, и фактически комиссары полиции стали во многих секциях лидерами восстания. Таким образом, силы, которые номинально существовали для защиты друзей порядка, стали активными агентами другой стороны. Комитеты надзора, недавно учрежденные Конвентом и известные как Революционные комитеты, заседали в каждой секции, разоблачая, разоружая и штрафуя своих врагов, раздавая сертификаты "цивилизованности" своим союзникам, формируя готовые центры якобинских интриг и разрабатывая планы всеобщего восстания. Если бы умеренные осмелились заявить о себе в секциях, якобинцы могли бы призвать на помощь полицию и таким образом обеспечить арест своих противников. Все, что им было нужно, - это время для организации своих сил, чтобы сделать успех восстания несомненным.

Жирондистам нечего было возразить на эти приготовления. Они тоже должны были понимать, что речь идет о силе, и все же не предпринимали никаких шагов, чтобы собрать силы для себя. Они не вызвали никакого энтузиазма в столице. В Париже не было класса, на который они могли бы опереться. Национальная гвардия не встала бы на их защиту. У них не было собственной гвардии или организации. Ни аристократы, ни буржуа не признавали их в качестве лидеров, и они не прилагали особых усилий, чтобы сплотить вокруг себя сторонников порядка. Жирондисты, правда, обладали красноречием и парламентскими батальонами, и они, вероятно, были правы, полагая, что большинство граждан предпочитает их политику и поведение политике и поведению их противников. Но эти преимущества имели мало веса и значения, когда на другой чаше весов лежала физическая сила.

Наконец, однако, жирондисты начали осознавать свою опасность. В апреле они напали на Марата и отправили его в Революционный трибунал. Но Марат был триумфально оправдан. Они осудили мятежные заговоры в секциях. Но заговоры продолжались. Они отказались выслушать предложения Дантона о примирении. Они получили адреса доверия от департаментов. Они предложили обратиться к стране с воззванием против Парижа. Они предлагали перенести конвент в Версаль или Бурж. Но все эти предложения остались безрезультатными. Позже, когда опасения усилились, они смело заговорили о роспуске Коммуны, а 18 мая провели предложение о назначении чрезвычайной комиссии из двенадцати человек для расследования заговоров против Конвента. В конце концов, хотя им и не хватало единства, они не потеряли бодрости. Комиссия смело бросила вызов заговорщикам и нанесла удар по главарю, арестовав Эбера. Арест Эбера ускорил кризис, и тревога, которую он вызвал в лагере Коммуны, показала, что якобинцы почувствовали всю серьезность атаки жирондистов. Но для того, чтобы сделать свою атаку эффективной,

жирондисты должны были иметь за спиной силу, а на это у них не хватило ни проницательности, ни силы, ни решимости.

Тем не менее нельзя сказать, что их лидеры не были предупреждены. Гарат, их главный представитель в министерстве, благодушно закрывал глаза на опасность и до последнего момента уверял своих коллег, что в Париже все спокойно и, что опасаться нечего. А ведь у Гарата в то время был небольшой штат тайной полиции, который ежедневно докладывал ему о состоянии Парижа, и среди них один Дютар, наблюдатель необычайной остроты, чьи отчеты министр, видимо, положил на полку без прочтения, но чье имя и советы заслуживают того, чтобы быть спасенными из забвения. В отчетах Дютара мы имеем поразительные свидетельства апатии огромной массы парижан, их равнодушия к жирондистам и якобинцам. Если верить Дютару, большинство мелких торговцев и рабочих, с энтузиазмом встретивших Революцию и молчаливо согласившихся с падением трона, с тех пор перешли в ряды недовольных. Мяслики, портные, сапожники, виноторговцы, даже продавщицы и лучшие ремесленники перестали принадлежать к передовой партии. Рекруты майской Коммуны были набраны из более низкого и безрассудного класса, из безработных или праздных рабочих, из носильщиков, лоточников, иностранцев и домашней прислуги, усиленные преступниками и изгоями, и раздутые социальными отбросами больших городов, которые никакое законодательство или филантропия еще не смогли устранить. Это невежественное и недисциплинированное тело, легко ведомое и легко вводимое в заблуждение, очень чувствительное к нужде и панике, но не очень чувствительное к принципам и порядку, составляло силу, на которую партия насилия могла положиться, и агенты Коммуны деловито взывали к ее интересам, собирали ее в батальоны и побуждали к действию. Но в конце концов, по сравнению с населением Парижа, эта сила была невелика. Огромная масса парижан боялась и не любила Коммуну. Они ненавидели его доктрины. Они содрогались при воспоминании о его сентябрьской вспышке, и их сковывал страх, что эта вспышка может повториться. Аристократы держались в стороне, провоцировали оппозицию и делали пакости. Буржуа отказывались от всех общественных обязанностей, избегали собраний секций, дебатов в клубах, митингов и демонстраций на улицах, политических дискуссий в кафе. Они хотели лишь остаться одни, развлекаться, собираться на Елисейских полях или в садах разобранного Тюильри, наслаждаться солнцем и летним бризом, заниматься своими мелкими делами и избегать непонятных и опасных превратностей общественной жизни. У них не было ни союза, ни точки опоры, ни лидеров. Хуже всего то, что в большинстве своем они не обладали достаточным мужеством и не поняли, как узнали позже, что если они хотят освободиться, то должны заявить о себе и действовать.

И все же временами среди них появлялись признаки лучшего духа. Первые попытки собрать с богатых принудительный заем и заставить их поступить на службу в Вандею, похоже, пробудили их к сопротивлению, и в течение мая Дютар сообщал о признаках объединения умеренных политиков и возвращения большинства в секциях. Если бы жирондисты воспользовались этим настроением, если бы они использовали свое влияние в правительстве и Конвенте, чтобы ввести войска в Париж, закрыть клубы, подавить Коммуну, завербовать и призвать в Ла Вандею некоторых обездоленных и безработных, воззвать к инстинктам собственности и порядка, которые сохраняются в каждом цивилизованном обществе, и побудить эти инстинкты утвердить себя путем адекватного проявления силы, они могли бы еще выиграть день. Но жирондисты не смогли воспользоваться этой возможностью. Лишь немногие из них видели так же ясно, как умный агент Гарата, что от них требуется. У них не было ни авторитета, ни объединения, ни оперативности, чтобы побудить Конвент предпринять необходимые шаги. Таким образом, большинство покорилося, а меньшинство с помощью силы и террора вновь захватило лидерство.

Арест Эбера 24 мая стал кульминацией борьбы. Он напугал Коммуну и заставил ее действовать. Их планы созрели уже давно, и в последующие дни они были быстро завершены. С одной стороны, лидеры восстания организовали свои силы в секции Эвеке, избрали различные комитеты и комиссаров для руководства действиями повстанцев. С другой стороны, Конвент и Комитет общественной безопасности колебались и колебались между соперничающими партиями, в то время как более смелые духи Жиронды упорно продолжали наступление. Некоторые из наиболее отчаянных якобинцев предлагали убить непопулярных депутатов, но ответственные лидеры настаивали на том, что от жирондистов следует избавляться более законными способами. В итоге тактика 10 августа была строго соблюдена. Восставший муниципальный орган, избранный самыми крайними секциями, собрался ночью 30 мая, объявил, что регулярные власти Коммуны отменены, назначил Ганрио главнокомандующим Национальной гвардией, приказал трубить в набат и приступил к набору батальонов, которые должны были запугать Конвент, чтобы тот запретил Жиронду. Но даже тогда результат был весьма сомнительным. Лидерам восстания было трудно собрать необходимые силы. Некоторые из секций и национальных гвардейцев проявили склонность встать на другую сторону. В пятницу, 31 мая, и в субботу, 1 июня, руководителям восстания не удалось добиться своего, и хотя они убедили Конвент отменить решение Комиссии двенадцати, им не удалось добиться проскрипции своих противников. Только с третьей попытки, в воскресенье, 2 июня, санкюлоты Анриота, при поддержке артиллеристов Национальной гвардии и беспорядочного батальона иностранцев, который в то время покидал Париж по приказу в Вандею, смогли собрать достаточно сил, чтобы ошеломить Конвент и побудить его проголосовать за арест двадцати двух лидеров Жиронды.

Таким образом, падение жирондистов в Париже было достигнуто после напряженной и сомнительной борьбы, в которой при наличии энергии и единства они, возможно, смогли бы спастись. Это вызвало всеобщий взрыв во Франции. Лион, Марсель, Бордо, Тулон, Гренобль, Кан, многие из величайших городов страны объявили о своем выступлении против якобинского правительства в Париже. Подавляющее большинство департаментов готовились поднять штандарт восстания. На северной и восточной границах союзники взяли Конде, Валансьен, Майянс и снова угрожали наступлением на Париж. На юго-западе против французов выступили испанцы, на юго-востоке - сардинцы. На Луаре повстанцы Вандеи били войска Республики в битве за битвой, и бросились на Нант. Английский флот блокировал французские порты. Все противники Революции поспешили записаться на одну сторону. Некоторые жирондисты бежали из Парижа и начали организовывать сопротивление на севере; Шарлотта Кордей, решив отомстить за нанесенные им обиды, в одиночку отправилась из Кана и убила знаменитого лидера якобинцев, ставшего апостолом убийств как метода политического продвижения.

Перед лицом этих опасностей якобинское правительство проявило неустрашимую решимость и находчивость. Угроза сопротивления департаментов, которые не имели ни единства, ни организации, была предотвращена энергичными и осторожными мерами. Восставшие города были изолированы и постепенно сокращены. Были найдены новые генералы и собраны новые войска для ведения войны. Поочередное назначение Хушара и Журдана главнокомандующими привело к победам при Хондшётене и Ваттини, и с начала сентября перевес стал в пользу французов. Союзники, всегда разобщенные и вялые, постепенно отступали перед своими врагами. После осени 1793 года всякая серьезная опасность вторжения исчезла. Французская армия начала осваивать дисциплину и секреты завоевания и под руководством своих великих полководцев вступила на свой неодолимый путь. На Западе венецианцы были наконец разбиты, а их героическое восстание подавлено. Жирондистам в провинциях не удалось, как не удалось и в Париже, собрать силы,

необходимые для успеха, и один за другим их выслеживали или они исчезали. До конца октября якобинцы повсюду торжествовали, Террор был установлен, а Революционный трибунал был занят работой.

Нет необходимости останавливаться на судьбе жертв. Идеалы жирондистов всегда будут вызывать симпатию. Их красноречивые надежды, их мужество и катастрофы всегда будут вызывать уважение. Но когда их судят как государственных деятелей, их прискорбная некомпетентность становится очевидной, а поражение, хотя и плачевное, кажется незаслуженным. Триумф якобинцев был отмечен смертью их противников. Они нанесли свои удары по всем партиям в равной степени. Многие лидеры жирондистов погибли в провинциях, а осенью и зимой 1793 года длинная вереница прославленных узников взойшла на эшафот в Париже. Мария-Антуанетта, неустрашимая до последнего, оправдала свое звание и положила конец своим несчастьям. Мадам Ролан с не меньшей храбростью последовала за несчастной королевой, которую она так бесстрашно поносила. Несколько недель спустя зловещая ирония их судей отправила на гильотину еще одну женщину, которая, как и они, на короткое время попыталась вершить судьбы Франции, - некогда всесильную мадам Дюбарри. Верньо и Бриссо, некогда герои Республики, Байи, некогда герой парижан, Барнав, некогда герой Ассамблеи, Филипп Эгалите, некогда герой толпы, Гушар, всего за несколько недель до этого герой армии, искупали вину за разные роли, которые они сыграли, тем, что подверглись одинаковому унижению. Но до последнего жирондисты-энтузиасты со спокойным мужеством древних, которых они любили, свидетельствовали о своих республиканских идеалах и, проходя от тюрьмы до эшафота, скандировали "Марсельезу".

ССЫЛКИ:

[10] Единственным известным мне авторитетом для этого утверждения является *"Парижская хроника"* от 26 декабря 1792 года, которую цитирует и принимает фон Зюбель (англ. пер.), ii. 287. Независимо от того, является ли оно полностью точным или нет, оно служит иллюстрацией несомненной паники в Париже.

ГЛАВА IX.

Якобинцы у власти.

Первым шагом, предпринятым якобинцами после поражения их противников в Конвенте, чтобы примирить общественное мнение Франции, было провозглашение новой конституции. Конституция 93 года, которой суждено было никогда не вступить в силу, была подготовлена под руководством Эро де Сешеля и в течение двух-трех недель в спешном порядке проведена через Конвент. Как никакая другая из революционных конституций, она была задумана в духе Руссо и воплощала в себе якобинские убеждения. В ней страсть к избирательным механизмам, подозрительный страх перед исполнительной властью, желание передать каждый вопрос на непосредственное рассмотрение народа, уже знакомые якобинскому идеалу, нашли свое самое позитивное выражение. Все права, абстрактные и конкретные, все механизмы, законодательные и исполнительные, административные и судебные, военные и финансовые, были переформулированы и переделаны. Все правители, даже исполнительный государственный совет, должны были назначаться путем всенародных выборов. Все должностные лица были ограничены очень

коротким сроком пребывания у власти. Квалификация для получения избирательного права была сделана как можно более простой и незначительной, но в качестве несколько курьезного исключения из теории прямого народного контроля была сохранена система двойных выборов для большинства административных чиновников. Кроме того, полномочия как исполнительной, так и законодательной власти ревностно охранялись рядом положений, которые давали нации право вето на все важные меры, предписывая, что каждый важный вопрос должен быть представлен на рассмотрение собравшегося народа. Никогда ни один парламент не работал с большей неуместной изобретательностью, чтобы свести своих правителей к бессилию и сделать их задачу невыполнимой. "Закон, - провозглашала новая конституция, - должен защищать общественные и частные свободы от притеснений со стороны тех, кто правит. Когда правительство нарушает права народа, восстание является для народа и для каждой его части самым священным из прав и самой необходимой из обязанностей".

Поучительно отметить, что за этим последовало. Несомненно, новая конституция была отчасти тактическим приемом, придуманным для примирения мнений. Но в ней также искренне излагалась доктрина, которой придерживались якобинцы как последователи Руссо. Однако одно дело - лелеять теорию, и совсем другое - проводить ее в жизнь. В тот момент, когда якобинцы предлагали свою чрезвычайно демократическую систему, которая сделала бы сильное правительство невозможным, они столкнулись с ситуацией, в которой сильное правительство было крайне необходимо. В тот момент, когда они предлагали французскому народу уничтожить всякую исполнительную власть, они оказались вынуждены установить деспотическую исполнительную власть, если хотели спасти Францию и сохранить себя. Конфликт между якобинской теорией и суровой необходимостью фактического положения дел не мог быть лучше обозначен. Вынужденные выбирать между ними, якобинцы бросили свою теорию на произвол судьбы, и люди, которые годами проповедовали, что права управляемых - это все, а права правителей - ничто, принялись за работу по созданию системы, в которой правители претендовали на власть, не имевшую аналогов прежде, и в которой управляемые не могли установить даже свое право на жизнь. Конституция прошла Конвент до конца июня. В течение следующих нескольких недель, под сильным давлением и при обычной апатии избирателей, была обеспечена ее ратификация первичными собраниями. Похоже, что многие избиратели проголосовали за него, надеясь, что его принятие приведет к необходимости проведения всеобщих выборов и, таким образом, положит конец борьбе фракций в Париже и отстранит якобинцев от власти. Затем в Париж были созваны делегаты первичных собраний, которые путем тщательного управления склонили к тому, чтобы попросить отложить роспуск Конвента до окончания войны. Конвент принял приглашение патриотов. Делегаты вернулись домой полные энтузиазма, чтобы поднять всех французов на службу Республике. Действие демократической конституции было приостановлено, и начался деспотизм Комитета общественной безопасности.

Номинально Конвент все еще оставался главным органом власти в государстве. Но после лета 1793 года он отрекся от большинства своих полномочий. Его комитеты по-прежнему выполняли большой объем работы. Влияние некоторых членов, Камбона в финансовых вопросах и Дюбуа-Крансе в вопросах военной организации, всегда было очень значительным. Достойным памятником его трудов является грандиозная программа народного образования, которую Конвенция создала в щедрых масштабах. О деятельности передовой партии свидетельствуют ее усилия по оказанию помощи бедным, содействию техническому образованию, развитию науки и искусства, улучшению сельского хозяйства, распространению знания французского языка, созданию телеграфной системы во Франции, открытию десятичной системы и установлению единообразия мер и весов. Ее смелая

попытка привести в порядок хаос французских законов заложила основы Гражданского кодекса. Эти моменты не следует забывать, оценивая работу Конвента, поскольку они свидетельствуют о том, что в его рядах были ревностные и полезные реформаторы. Но все же следует признать, что с течением времени большинство членов поддались влиянию террора. По мере возможности они воздерживались от голосования и вообще от высказывания каких-либо мнений. Их единственной целью было скрыться от посторонних глаз и сердечно согласиться на любые условия, которые выдвигали их хозяева. Сийес, некогда самый активный лидер Собрания и неистощимый на дебаты, жил, упорно храня молчание. Когда враг осудил его в Якобинском клубе, сапожник спас ему жизнь, заявив, что Съезд никогда не лезет в политику и не делает ничего, кроме как читает свои книги. Таким же образом были подавлены все остальные конкуренты за власть. Административные чиновники подверглись жесткой проверке, их лишили политического влияния и наиболее важных функций. Муниципальные выборы были отменены. Государственная служба была заполнена санкюлотами, а для сторонников победившей партии было создано огромное количество новых мест. Таким образом, существующие органы власти были сокращены, и вместо них было организовано революционное правительство. В сентябре, после некоторых превратностей, новая система была завершена, и Террор был объявлен "порядком дня".

Форма революционного правительства была проста. Во главе его стоял Комитет общественной безопасности, двенадцать королей Франции. Члены этого Комитета верховодили во всех внешних и внутренних делах. Министры использовались ими в качестве клерков и подчиненных. К Конвенту они прибегали лишь для проформы. Они стояли выше всех существующих властей, имели неограниченные полномочия, стояли над законом. Непосредственно Великому комитету подчинялись два главных двигателя его власти - Комитет общей безопасности под руководством Амара и Вадье, Паниса и Рюля, который руководил полицейской деятельностью правительства, заполнял парижские тюрьмы и выбирал жертвы для эшафота, и Революционный трибунал, организованный заново в сентябре в более широком масштабе, управляемый такими людьми, как Герман, Коффиналь и Фукье-Тинвиль, и действующий через гильотину. За этими тремя важными органами стояли другие различные учреждения Террора. Во-первых, в Париже это была несокрушимая Коммуна, которой руководили Паш, Эбер и Шометт; батальоны Секций, бывшие когда-то Национальной гвардией, но теперь представленные в основном канонирами и отданные под командование Ганрио; новая революционная армия Санскулов, сформированная в сентябре 1793 года и представлявшая собой дополнительные силы в шесть или семь тысяч человек; Революционные комитеты сорока восьми секций, тщательно отобранные, организованные и оплачиваемые; собрания секций, теперь ограниченные двумя в неделю и управляемые оплачиваемым большинством санкюлотов; и большая организация Якобинского клуба. В провинциях правительство поддерживалось аналогичной системой жесткой централизации. Специальные представители в командировках рассылались с абсолютными полномочиями для установления террора в крупных городах Франции. Подчиненные офицеры, организованные позже под названием национальных агентов, были назначены для осуществления аналогичных полномочий в менее важных городах. Революционные комитеты, организованные и оплачиваемые, в каждом районе и значительной деревне действовали под руководством национальных агентов и в тесном сотрудничестве с местными клубами. А в некоторых местах были созданы революционные трибуналы и революционные армии по образцу парижских.

Во главе этой необычной системы стояли Комитет общественной безопасности в Париже и представители миссии в департаментах. Именно они создали Террор, и на них лежит главная ответственность. Комитет общественной безопасности состоял из нескольких различных

групп. Тремя наиболее заметными его членами, действовавшими тесно и последовательно друг с другом, были Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст. Эти люди были идеалистами Комитета, фанатичными учениками Руссо, стремились к возрождению общества и были полны решимости добиться торжества своих принципов любыми средствами. Широкая популярность Робеспьера среди якобинцев, его респектабельность и добродетель, а также его положение типичного выразителя партийного вероучения делали его незаменимым союзником, хотя более практичные из его коллег относились к его административным способностям с презрением. Кутон, с его сладким голосом и искалеченным телом, и Сен-Жюст, с его красивым лицом и суровой манерой поведения, поддерживали планы Робеспьера с той же необычной смесью жестокости и сентиментальности, поверхностного педантизма и глубокой убежденности. Но хотя впоследствии триумvirат ухватился за власть, и хотя все они принимали участие в формировании принципов и политики Террора, их влияние поначалу отнюдь не было преобладающим, а превосходило влияние многих их коллег. Вместе с ними в политической работе Комитета, но более эффективными, чем они, в обеспечении его триумфа, были Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа, настоящие организаторы Террора и одни из самых свирепых безжалостных людей, которых эта система вознесла к власти. Рядом с ними стояли впечатлительный Барер, в некоторых отношениях самый важный член правительства, который представлял Комитет в Конвенте, где его беглый язык и легкий нрав сделали его популярным, и Эро де Сешель, наименее важный из двенадцати, превосходящий всех в придворной учености и воспитании, но наиболее выдающийся в обществе и любви. Остальные пять членов Комитета были людьми, чьи имена, за одним исключением, малоизвестны сегодня: Линде и Приер с Марны, которым было поручено снабжение страны, Жан Бон Сент-Андре, реорганизатор флота, и Карно и Приер с Кот-д'Ор, организаторы великих кампаний, которые так много сделали для спасения репутации Комитета и которые в глазах многих французов наполовину оправдали его недостатки.

Судя об этом прославленном деспотизме, никто не должен забывать о его тяжелых трудах, бесстрашном патриотизме, преданности и успехе. Члены Комитета не щадили себя. Те, у кого были специальные отделы, такие как Карно и Приеры, Жан Бон Сент-Андре и Линде, отдавались делу душой и сердцем, работали день и ночь, жили в своих кабинетах, обедали иногда на хлебе и воде и, поглощенные своими непосильными обязанностями, оставляли другим поле для политических интриг. Все их силы и способности были брошены на государственную службу. Они приняли Террор, как систему, сопротивляться которой было безнадежно, скорее из необходимости, чем из желания. Но все же они подписывали все, что ставили перед ними их коллеги, и должны были разделить ответственность с остальными. Все члены правительства жили в условиях страшного давления. Меч постоянно висел над их головами. Всеобщее недоверие было шибболетом якобинцев, и гений подозрительности царил в их лагере. Каждый человек знал, что за ним наблюдают его коллеги. Каждый знал, что его очередь может наступить следующей. "Вы гильотинировали своего соседа, - говорил впоследствии Барер, - чтобы он не гильотинировал вас".

Под контролем Комитета общественной безопасности и под непосредственным руководством Бийо-Варенна и Колло д'Эрбуа представители миссии несли террор по Франции. Система отправки членов Конвента со специальными миссиями в армию и провинции была свободно принята после 10 августа и получила широкое развитие при якобинском правлении. Депутаты получали самые широкие инструкции от Комитета, который поддерживал их в трудную минуту. Они обладали абсолютной властью над жизнью и имуществом. Они могли смещать и назначать чиновников, налагать штрафы, взимать

налоги, заключать в тюрьму по подозрению, судить, наказывать и казнить заключенных, а также предпринимать любые шаги, которые они считали целесообразными для распространения террора в районах, где они правили. Такие полномочия в лучших руках всегда были бы опасно чрезмерными; но, доверенные, как это часто бывало, людям без принципов и умеренности, в то время, когда политические страсти были неистовыми, когда подозрительность была широко распространена, а насилие верховодило, они были злоупотреблены до такой степени, которую даже авторы системы вряд ли предполагали, и которая сделала летопись Террора черной страницей в истории человечества.

Правда, характер их правления в некоторых местах был мягче, чем в других. Некоторые районы Франции избежали этого. В нескольких важных городах не было казней, хотя заключенных отправляли на суд в Париж. В таких городах, как Лион, Марсель и Тулон, поднявших штандарт восстания, был удобный повод для суровости. Некоторые из комиссаров, такие как Бо и Гули, Лаканаль и Андре Дюмон, хотя и опускались до свирепых выражений, умудрялись смешивать милосердие со своей болтовней и щадили жизни так часто, как только могли. Некоторые, как Изабо, Лекарпентье и Альбит, были противниками массовых казней, считали свои жертвы десятками, а не сотнями, и довольствовались в своих эксцессах не столько кровопролитием, сколько абсурдом. Некоторые, как Талльен, ценили диктатуру главным образом за возможность наживы, которую она предоставляла. Некоторые, как Сен-Жюст, были произвольны только в том, что настаивали на соответствии своим политическим идеалам, или, как Кутон, смягчали справедливость Террора схемами благожелательной филантропии. Многие из них, казалось, действовали в бреду. Все они рисковали быть осужденными и жили в страхе смерти.

Но если отбросить все исключения, остается слишком много примеров свободолюбия и жестокости, с помощью которых комиссары обеспечивали себе верховную власть. Некоторые из них, казалось, получали удовольствие, демонстрируя, насколько отвратительной может быть тирания. Даже массовые казни не всегда были худшей чертой их правления. Колло д'Эрбуа и Фуше в Лионе, Лебон в Аррасе, Жавож в Сент-Этьене и Каррьер в Нанте приобрели печальную известность среди остальных. Другие, такие как Лакомб в Бордо, Баррас и Фрерон в Марселе и Тулоне, Рейно и Гиарден в департаменте Верхняя Луара, Минье в Воклюзе, Дартигойт в Герсе и Ландах, Бори в Гарде, Бернар де Сент и Леонард Бурдон в Кот-д'Ор, отставали по своим заслугам только от худших. Их деспотизм был менее расточительным по отношению к жизни; но в презрении к порядочности, гуманности и справедливости мало кто из их коллег превзошел их. Первая ярость Террора была направлена против подозреваемых и богатых, против священников, капиталистов и аристократов. Но он быстро перекинулся и на других; торговцы и крестьяне, рабочие и работницы - все они стали жертвами гильотины. "Я превращу этот народ в патриотов, - кричал Бодо, - либо они, либо я должны умереть". "Мы превратим Францию в кладбище, - вторил ему Каррье, - а не возродим ее по-своему".

Однако более интересными, чем беззакония проконсулов Террора, являются принципы, которые эти беззакония должны были привести в исполнение. Среди якобинцев всегда существовали разногласия, и их законодательство не отличалось последовательностью. Но все же можно указать на определенные максимы, влиявшие на их поведение, максимы, которые, будучи представлены в ином свете и выдержаны в ином духе, в другие эпохи вызывали энтузиазм и завоевывали уважение. Эти максимы нашли своих самых сильных

сторонников среди политиков Коммуны. Их принятие в значительной степени было связано с парижским муниципалитетом, и восхождение этой партии, достигшее своего апогея в ноябре 1793 года, знаменует собой кульминацию Революции и, с точки зрения политической доктрины, самую дальнюю точку демократического продвижения.

Главным пунктом, который отстаивали террористы, было абсолютное верховенство государства и полное подчинение ему прав личности. Верховенство государства, согласно якобинской теории, распространялось как на жизнь, так и на собственность. Долг каждого члена государства - работать на него. Право каждого члена государства - получать от него поддержку. В соответствии с этими идеями Республика утверждала свое право не только на владения короны, церкви, эмигрантов и подозреваемых, но и на корпоративную собственность любого рода, на владения больниц, научных учреждений, образовательных и благотворительных институтов. Она вернула себе все земли, отчужденные короной за последние триста лет. Она заявила о своем праве присваивать для общественных целей, под названием реквизиции и по ценам, которые она устанавливала по своему усмотрению, все продукты торговли, сельского хозяйства и производства. "Все, что необходимо для сохранения жизни, - говорил Робеспьер, - является общей собственностью всего общества". "Когда этого требуют общественные нужды, - утверждал другой депутат, - все принадлежит народу и ничего - отдельным лицам". Таким образом, каждый мужчина в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет был обязан служить в армии Республики. Чтобы одеть и обуть армию, портных и сапожников вызывали в штаб-квартиру и требовали работать на слуг государства. В некоторых округах все синие и зеленые плащи были конфискованы для службы Республике. Таким же образом все мельники, фермеры и рабочие, все, кто готовил пищу для народа, должны были работать по приказу государства. В одном случае правительство приказало, чтобы весь овес на территории Республики был сдан в течение недели в определенные места и сдан местным властям по установленной государством цене. В других случаях власти под страхом смертной казни приказывали сдать на государственные нужды все спекулятивные деньги, золотые и серебряные изделия.

Но эти далеко идущие требования предполагали весьма произвольные меры. Чтобы обеспечить повиновение своим приказам, государство должно было иметь возможность опираться на своих слуг, и поэтому оно вводило должности и обязанности везде, где находило удобные кандидатуры. Все, кого оно назначало, были вынуждены соглашаться, и отказ не допускался. Кроме того, государство обязывалось контролировать всех, кто работал на общину, всех производителей, земледельцев и торговцев. Оно обсуждало возможность превращения своих розничных торговцев в наемных слуг. Все, кого оно обязало работать, должны были работать, хотели они того или нет, иначе их объявляли "москадинами" и подвергали суровым наказаниям и штрафам. Государство обязывалось обеспечить их работой и установить размер заработной платы. В некоторых районах власти должны были составлять списки безработных и ферм, нуждающихся в рабочей силе. Затем эти люди поставлялись фермерам, а их заработная плата устанавливалась государством. Если кто-либо из рабочих не вписывал свое имя или просил больше установленной зарплаты, его приговаривали к тюремному заключению в кандалах. Каждый человек должен был предоставлять свои услуги, когда этого требовало государство, или же быть наказанным как эгоистичный и несговорчивый. Если он разорялся в результате подчинения, это была его вина, потому что государство не могло сделать ничего плохого. Государство принуждает к добру, и все люди должны подчиняться.

В обмен на это беспрекословное повиновение государство обязывалось следить за благополучием своих подданных. "Общество, - кричал Робеспьер, - должно обеспечивать

всех своих членов". Некоторые энтузиасты, такие как Сен-Жюст и Бабёф, предлагали отменить частную собственность; но эта точка зрения не получила широкого распространения, и общая тенденция якобинского законодательства заключалась в распределении собственности, а не в ее запрете. "В хорошо организованной республике, - говорил Барер, - никто не должен быть лишен некоторой собственности". Соответственно, были приняты два общих правила: во-первых, никто не должен иметь слишком много, а во-вторых, каждый человек должен иметь достаточно. Для обеспечения первого из этих принципов потребовались радикальные меры. Богатые были обложены налогами и запрещены. С них взимались огромные штрафы, безрассудно налагаемые любой властью, которая имела право принудить их к уплате. В то же время участились конфискации, и в казну республики стали поступать земли, дома, тарелки и сокровища искусства. Было проведено различие между необходимым и излишним. Необходимое было определено в размере сорока фунтов в год на голову. Сверх этого предлагалось, чтобы самые богатые семьи оставляли себе только доход в сто восемьдесят фунтов. "Изобилие, - заявил Сен-Жюст, - это позор". Самые богатые французы, - кричал Робеспьер, - не должны иметь более ста двадцати фунтов в год". Чтобы предотвратить неравенство богатства в будущем, свобода завещания была отменена, а права завещателей строго ограничены, чтобы их имущество могло быть разделено после смерти. Если у человека не было детей, государство поощряло его к усыновлению, чтобы его имущество было распределено между ними. "Равенство прав", - сказал один из депутатов, - "может поддерживаться только постоянной тенденцией к единообразию состояний".

Но, - сказал Барер, - недостаточно пустить кровь богатым и спустить колоссальные состояния. Необходимо сделать так, чтобы рабство бедности исчезло с почвы Республики". Поэтому государство различными способами обеспечивало тех, у кого не было средств к существованию. Оно выделило им конфискованные земли. Оно зачисляло их в Революционную армию. Оно устраивало их на государственную службу или оплачивало им участие в работе комитетов, собраний и клубов. Коммуны должны были составлять списки всех граждан, не имеющих собственной собственности, чтобы государство могло прийти им на помощь. В каждом департаменте была заведена "большая книга народного благодеяния" для стариков, вдов и немощных, чтобы они могли получать пенсии от государства. "Каждый гражданин, - писал Сен-Жюст, один из законотворцев террористической утопии, - должен иметь свой хлеб, свой кров и все необходимое для жизни. Он должен жить независимо, уважать себя, иметь опрятную жену и здоровых и крепких детей". Если же он отказывался соответствовать этому идеалу, то наказанием была смерть.

Но недостаточно было обеспечить всех доходами; необходимо было принять дополнительные меры, чтобы цены на предметы первой необходимости были такими, чтобы каждый человек мог их купить. Поэтому максимальными законами государство установило предельную цену на хлеб, а от нее быстро перешло к ограничению цен на другие предметы первой необходимости, на мясо и овощи, на мыло и дрова, на масло, табак, сахар, пиво, даже на промышленные изделия и сырье. На тех же основаниях, чтобы сделать вещи обильными и дешевыми, государство ревностно следило за всеми торговцами и производителями. Монополия была признана тяжким преступлением. Промышленники, земледельцы и торговцы были объявлены врагами общества. Капиталисты и ростовщики подвергались публичному осуждению. Биржи были закрыты. Финансовые ассоциации были подавлены. Банкирам, биржевым маклерам и торговцам серебром было запрещено заниматься своим делом. Жесткие ограничения ограничивали импортную и экспортную торговлю страны, а также вложение капитала за границу. Эбер заявил, что все торговцы "по сути своей антиреволюционеры и готовы продать свою страну за несколько полупенсов".

Другие якобинцы утверждали, что "почти все фермеры - аристократы", и запрещали мясников, в частности, как "нетерпимую аристократию". Чем больше эти произвольные меры терпели неудачу, тем неумолимее их авторы приводили их в исполнение. Фермерам было запрещено продавать свою продукцию частным образом. Купцы были вынуждены предлагать публике все, что у них было в лавках. Смертной казнью карался производитель, не использовавший полностью свои материалы, смертной казнью карался торговец, не вывесивший список всего, что у него есть на складе, смертной казнью карался земледелец, не вывезший зерно на рынок, смертной казнью карался любой человек, хранивший у себя больше хлеба, чем ему требовалось для пропитания. Такие же суровые наказания следовали за всеми, кто нарушал законы о максимуме и не соглашался на установленные государством цены. Среди записей о наказаниях, которые были вынесены государством, иногда встречаются случаи, когда оно прибегает к безжалостным актам мелкой тирании, приговаривая в одном случае к штрафу в тысячу франков женщину, которая осмелилась продать свечу за пять пенсов, приговаривая к штрафу в сорок тысяч франков владельца бара, который брал десять пенсов за стакан вина, и приказывая бакалейщику, который продавал сахарный песок по более низкой цене, чем одобрили власти, заплатить сто тысяч франков штрафа и быть заключенным в тюрьму до конца войны!

Разумеется, эти произвольные меры преследовали свои собственные цели. Вместо того чтобы обеспечить изобилие продовольствия и одежды, вместо того чтобы снизить цены, они уничтожили кредит, разрушили предприимчивость, привели к нехватке и дефициту. Несмотря на все усилия правительства, стоимость ассигнатов неуклонно снижалась. Все были вынуждены пользоваться ими и принимать их по номинальной стоимости, но все знали, что на самом деле они ничего не стоят. На какое-то время коммерческое процветание исчезло. Со всех сторон разорялись фабрики, а рабочие оставались без работы. Артур Янг заявил, что революция нанесла мануфактурам больше вреда, чем любой другой отрасли промышленности во Франции. Проскрипции богачей разрушили промышленность Парижа и Лиона. Беспорядки в Вест-Индии нанесли тяжелый удар по колониальной торговле. Война с Англией закрыла французские порты и нанесла ущерб французскому судоходству. Война с другими державами закрыла континент для французских товаров. Наблюдатели в Бордо, Нанте и Страсбурге повторяли одни и те же жалобы. Торговля здесь уничтожена", - писал швейцарский банкир из Парижа в ноябре 1793 года.

И как это было с капиталистами, так это было и с торговцами, фермерами и рабочими. Никто не хотел подчиняться правилам, урезающим прибыль от его занятия. Чтобы обойти их, прибегали к всевозможным ухищрениям. Лавочники держали на складах лишь ограниченный запас товара или тайно перепродавали его покупателям, готовым заплатить за него высокую цену. Контрабанда неуклонно росла. Фермеры и крестьяне отказывались сдавать зерно на рынок по установленным государством ценам. Они продавали его частным образом или запасали впрок. Потерпев поражение, они вообще отказывались работать и оставляли свой урожай на полях необранным. Булочники, - писал зимой 1793 года якобинский агент из Гренобля, - совсем перестали печь". Рыбаки, - писал другой из Марселя, - больше не выходят в море". Конечно, государство сурово наказывало их за контузию, но они предпочли бы сесть в тюрьму, чем трудиться без достойного вознаграждения. Так рабочие классы перешли в ряды подозреваемых, а арестованные "аристократы и фанатики" состояли в основном из лавочников и рабочих. В одном из списков заключенных в Страсбурге, например, значились имена нескольких женщин, чьи мужья были портными, обойщиками и трубочистами, а в сельских районах крестьяне и фермеры заняли место механиков и торговцев в городах. Летом 1794 года тюрьмы Франции были настолько переполнены деревенскими жителями, что Конвент встревожился из-за

запустения земель и распорядился временно освободить в связи с урожаем большое количество рабочих рук.

Результатом безрассудных действий государства и сопротивления, которое они вызвали, стал всеобщий дефицит. В 1792 и 1793 годах урожаи были отнюдь не плохими. Но полное обесценивание валюты, незащищенность собственности, частые конфискации зерна, попытки властей, особенно в Париже, устанавливать заработную плату и манипулировать ценами - все это привело к сокращению предложения и ограничению свободного обращения продовольствия. Зимой 1793-94 годов признаки бедствия стали тревожными. Из Лиона и Марселя, из Руана и Бордо приходили только сообщения о голоде. "В округе Кадиляк, - сообщал Талльен в марте 1794 года, - царит абсолютный голод; горожане дерутся за траву на полях". Во многих районах Индра, - писал другой представитель, - продовольствие полностью отсутствует". В Париже, где собралось так много неимущих, опасность, несмотря на усилия муниципалитета, была еще более ощутимой. Хлеб был плохим и скудным. Мясо было ужасно скудным. Овощи и бакалея были очень дороги. Длинные очереди голодных мужчин и женщин, которые каждую ночь образовывались у парижских магазинов провизии в ожидании рассвета, придавали мрачный оттенок парижской жизни. "Если так будет продолжаться, - говорили рабочие, по свидетельству одного из наблюдателей, - нам придется перерезать друг другу глотки, поскольку жить больше не на что". Нищие множились со всех сторон. Те, кто знал парижские улицы, говорили о толпах голодных лиц, "повсюду представлявших собой образ отчаяния", - до таких страданий довело их всевластное государство, которое только и мечтало быть всемогущим ради благородной цели возрождения человека.

Но государство не ограничило свое вмешательство вопросами собственности и труда. Оно взялось регулировать и поведение частных лиц. Старые кодексы веры и морали были сметены. Старые представления о семейной жизни были отвергнуты. Робеспьер протестовал против "домашнего федерализма, который сужает душу, держа ее в изоляции". Браки заключались по самым свободным договорам. "Мужчина и женщина, которые любят друг друга, - это брак", - восклицал Сен-Жюст. Отцовские права и обязанности были отменены. Патриоты считали, что исправление ребенка отцом противоречит свободе. Государство взяло на себя обязанность воспитывать своих детей по самой подробной и жесткой системе, заботиться об их содержании, определять их наследство, диктовать им мораль, формировать их взгляды, указывать им Бога. Под влиянием материалистической школы, господствовавшей в Парижской коммуне, и в частности Шометта, Эбера и Клутца, христианство было запрещено. "Пройдет немного времени, - воскликнул один восторженный депутат, - и религия Сократа, Марка Аврелия и Цицерона станет религией всего мира". С санкции Конвента Разум был установлен как вера Республики. 10 ноября 1793 года в соборе Нотр-Дам была установлена богиня Разума. Церкви были закрыты и разграблены. Священники были вынуждены под страхом преследования отречься от престола или отказаться от своей веры, а многочисленные сцены разгула и беспорядков свидетельствовали о триумфе рационалистического вероучения. Действия Коммуны в Париже и ее представителей в провинциальных районах вызвали всеобщее возмущение. "Беда велика, а рана глубока", - писал Робеспьеру из Лиона один из политиков-якобинцев. Оцепенение, горе и ужас изображены на каждом лице. Умиравший посылает служителя религии, чтобы тот произнес слова мира и утешения, и ему угрожают гильотиной, если он пойдет исполнять этот долг человечности. Такова реальность нашей свободы!

Помимо христианской религии террористы отреклись от христианского летоисчисления. Новый календарь датировался 22 сентября 1792 года, днем провозглашения Французской

республики, который стал первым днем первого года Свободы. Старые месяцы, недели и дни были упразднены. Год был разделен на двенадцать новых месяцев, каждый из которых состоял из тридцати дней: осень - Vendémiaire, Brumaire, Frimaire; зима - Nivôse, Pluviôse, Ventôse; весна - Germinal, Floréal, Prairial; лето - Messidor, Thermidor, Fructidor. Каждый месяц делился на три декады, а пять дней в конце года посвящались народным празднествам. Вместе с обычаями старого мира исчезли и его нравы. Чтобы обеспечить социальное равенство, все классы были вынуждены перенять привычки, одежду и язык санскулов. Красные шапки, сабо и грубая одежда стали неотъемлемыми признаками патриотизма. Милости и любезности жизни были наказуемы. "Небезопасно, - писал один парижанин уже в сентябре 1792 года, - ходить по улицам в приличной одежде". Старые формы обращения исчезли и уступили место братским приветствиям. Настоящая аристократия природы и образования разделяла запрет случайной аристократии рождения. 'Французский народ, - хвастался Робеспьер, - опередил все остальное человечество на две тысячи лет..... В остальной Европе пахарь или ремесленник - это животное, созданное для удовольствий знати. Во Франции дворяне пытаются превратить себя в пахарей и ремесленников, но не добиваются этой чести". Среди других странных и тривиальных изменений в моду вошло принятие новых имен, часто заимствованных у героев древности. Брут, Анаксагор и Сципион-Солон фигурировали в популярной номенклатуре того времени. В штате Революционного трибунала один из членов взял себе имя Десятого Августа, другой назвался Муцием Сказволей, а третий - Семпронием Гракхом.

Помимо этих нелепостей, которые стоит описать только потому, что они иллюстрируют необычный характер того времени, вмешательство террористов в правила частного поведения имело естественные последствия. Ни одна нация не может безнаказанно отбросить свои предрассудки и убеждения. Ни один народ не может безропотно принять совершенно новый кодекс морали и этики даже от рук людей с добрыми намерениями. Результатом стало моральное расстройство. Когда уважение к условностям было запрещено, вместе с ним ушло и уважение к дисциплине и самоограничению. Родители сетовали на непокорность своих детей. Порок все чаще проявлял себя беззастенчиво. Поощряемые законодательством Террора, статистические данные о незаконнорожденных чрезвычайно возросли. В VI году Республики во Франции было больше разводов, чем браков.

Несомненно, во многих случаях действия террористов были основаны на честных убеждениях. Некоторые члены правительства, такие как Сен-Жюст и Робеспьер, были идеалистами, убежденными в том, что их тирания необходима для обеспечения господства добродетели в мире. Даже среди политиков Коммуны, от которых исходило большинство социалистических экспериментов и большинство крайних мер Террора, и с которыми были тесно связаны многие из его худших инструментов, несомненно, были люди, которые, подобно Шометту, обдумывали проекты благожелательной филантропии, направленные на исправление преступников, облегчение страданий и подавление порока. Эти люди видели вокруг себя серьезное неравенство и серьезные беды. Они хотели сделать социальное зло невозможным, а всех людей - счастливыми, патриотичными и просвещенными на месте. Они хотели разрушить условности, которые иногда приводили к лишениям, и изгнать то, что они считали суевериями прошлого. И вот, захватив абсолютную власть, они использовали ее для того, чтобы отчаянными мерами и в отчаянной спешке воплотить в жизнь свой туманный идеал.

Но, полностью отдавая должное намерениям этих людей и забывая на время об их губительной неразумности, мы не можем закрывать глаза на методы, которые они использовали. Политические страсти искажают историю в своих интересах, и писатели,

симпатизирующие идеалам террористов, слишком часто отказываются рассматривать что-либо иное. Но, в конце концов, эти люди составляли незначительное меньшинство, чьи максимы принимали их коллеги, но чьи угрызения совести они отбрасывали в сторону. Судить об этой системе следует не по надеждам нескольких теоретиков, а по действиям и характеру практических агентов Террора. И именно на основании их действий и характера террористы как партия заслуживают осуждения. Подавляющее число свидетельств их собственных заявлений, официальных документов и судебных отчетов не может быть отвергнуто как пустая клевета. Несомненно, некоторые из них действовали в бреду, в условиях неизбежной опасности и под угрозой смерти. Несомненно, все они страдали от того притупления нравственного чувства, которое безрассудное возбуждение Революции, по-видимому, произвело во многих умах, и которое только и сделало возможным Террор, и которое так ярко проявилось в Наполеоне, завоевателе и детище Революции. Но все же, принимая все оправдания, послужной список террористов мрачен. Некоторые из них, во главе, были опасными фанатиками, некоторые - бесцветными или безвольными помощниками. Но многие из , особенно подчиненные агенты и те, кто причислялся к последователям Эбера, были невежественны и беспринципны, жестоки и развращены.

Характерной чертой этой партии была свобода, которой отличались их речь и поведение. Грубость языка не была редкостью среди политиков-якобинцев, и даже самые великие из них, такие как Дантон, разделяли ее. Во многих случаях эта привычка не была естественной, а сознательно преследовала политические цели, культивировалась как признак демократизма и завоевания популярности у толпы. Именно в таких людях, как Эбер и его союзники, эта презрительная мода достигла своего апогея. Благодаря ей Эбер создал свою политическую репутацию. Его журнал "*Père Duchesne*", вознесший его к славе и власти, был основан с явным намерением обратиться к непристойным вкусам толпы, и его скандальная нечистоплотность, вероятно, никогда не была превзойдена. Какого же калибра должны были быть люди, которые прибегали к таким методам обретения славы? Их язык, однако, не имел бы большого значения, если бы не отражался так часто в их поведении и если бы они не обладали властью отменить с помощью гильотины все те законы и приличия, которыми общество защищает себя. У Эбера не было недостатка в подражателях среди людей, которых Террор вознес к власти. Гуффруа, член Комитета общей безопасности, основал газету в том же стиле. Жавог и Дартигойт, Вашерон, Лапланш и другие проповедовали и перенимали в департаментах мораль Пьера Дюшена, а те, кто стоял ниже их в иерархии Террора, соперничали или превосходили пример своих вождей. Нельзя также упускать из виду свирепость, которую проявляли многие участники Террора. В летописях деспотизма мало что превосходит кровавую жестокость Колло д'Эрбуа, Фрерона и Лебона, беззакония, допущенные Ронсеном, героем Революционной армии, и Фукье-Тинвилем, герой Революционного трибунала, циничная жестокость Фуше, наблюдавшего за расправой из окна с лорнетом в руке, дикость Каррьера, который заявил, что никогда в жизни так не смеялся, как при виде мучений своих жертв, безжалостный фанатизм Робеспьера, который после десяти месяцев Террора настаивал на принятии нового закона, упрощающего судебные процессы и облегчающего смерть, ужасная изобретательность Вадье, который придумал устраивать заговоры в тюрьмах, чтобы обеспечить больше жертв для эшафота, или варварство правительства, которое, одоблив этот незаконный прием, предложило расстрелять всех своих военнопленных и сделало бы это, если бы его собственные офицеры не отказались выполнить этот приказ.

Но если некоторые из ведущих террористов были никчемны, то многие из их подчиненных были еще хуже. Характер людей, которые проводили систему в жизнь в парижских секциях и в городах и деревнях Франции, которые управляли клубами, руководили комитетами и

составляли вооруженные силы, как правило, не был оправдан никакими более серьезными общественными мотивами. Они не только были очень грубы и невежественны, но и обязательно были людьми без угрызений совести. Никто другой не стал бы выполнять обязанности Террора или исполнять приказы, поступавшие сверху. Их власть была огромной, возможности для тирании и грабежа - неограниченными, и этими возможностями постоянно злоупотребляли. Деньги, безрассудно взимаемые с богатых, никогда не попадали в государственную казну. Зарплаты были умножены до необычайной степени. Камбон, выступая от имени казначейства, свидетельствовал о повальном казнокрадстве. Сотни других свидетелей приводили примеры коррупции и излишеств, а то и разврата и преступлений. Вооруженные силы, на которые опиралось небольшое меньшинство террористов для поддержания своей шаткой власти, свободно набирали самых отъявленных новобранцев. Их собственный генерал назвал их "мерзавцами и разбойниками" и оправдывался тем, что "честных людей для такой работы не найти". Такой класс существует в каждой стране, особенно в тех, где долгое время неправильно управляли; но цивилизованные общества ставят его под строгий контроль. Якобинцы же пригласили его к управлению и наделили деспотическими полномочиями. Примечательно, что многие из якобинцев были людьми, потерпевшими неудачу в обычной жизни, и, как следствие, озлобленными против социальных законов. Сочувствуя страданиям и презирая магию богатства, якобинцы впадали в противоположную крайность, исповедовали, что находят магию в бедности, и считали невежество и нищету сами по себе достойными чести. Вспоминая доктрину своего учителя о том, что в состоянии природы инстинкты человека хороши, они отказывались признавать хрупкость человечества и забывали, что несчастье иногда происходит по вине человека. Какой бы странной ни казалась эта истина, представляется неопровержимо доказанным, что во времена Террора правительство Франции в значительной степени попало в руки беспринципных и никчемных людей, и что доктрина суверенитета народа, которую когда-то приветствовали с таким чистым энтузиазмом, стала означать тиранию самых низких людей, не только самых низких по богатству и положению - это не имело бы значения, - но и самых низких по образованию и способностям, по природе и по морали тоже.

Трудно поверить, что Карно и Линде, или даже Робеспьер и Сен-Жюст, могли искренне одобрить такую систему. Но то, что они ее одобряли, очевидно. Одни, как Карно, закрывали глаза, считая, что вмешиваться бесполезно. Другие, как Сен-Жюст и Робеспьер, укрылись в своем решительно слепом фанатизме. Патриоты" не могли поступать неправильно, и если их собственные друзья приводили им доказательства обратного, они отказывались, за исключением самых грубых случаев, слушать или верить. Им приходилось использовать то оружие, которое они могли найти, и они успокаивали свою совесть общими заявлениями. "Якобинцы, - восклицал Колло д'Эрбуа, - сострадательны, гуманны и великодушны. Однако эти добродетели они приберегают для патриотов, которые являются их братьями, а не для аристократов". Большинство из них считали, что Террор необходим. "Необходимо, - говорил Бийо, - чтобы народ был создан заново". Даже Жан Бон Сент-Андре настаивал на том, что для создания идеальной Республики необходимо уничтожить половину населения Франции. "Наша цель, - неуклонно твердил Робеспьер, - заменить нравственность эгоизмом, честность - честью, принципы - обычаями, ... империю разума - тиранией моды, ... благородство - тщеславием, любовь к славе - любовью к наживе", но для осуществления своей добродетельной цели террористы призывали на помощь развращенных людей.

Эти соображения могут служить объяснением строфы *cata* лидеров Террора. Пока их эксперименты были честными и высокомотивированными, они всегда будут представлять интерес для мира. Но даже как реформаторы они потерпели полное фиаско. Последствия их

отчаянных действий были катастрофическими. Их методы полностью дискредитировали их дело и принесли бесконечное количество страданий Франции. И хотя отчасти, несомненно, они потерпели неудачу из-за невежества, главным образом они потерпели неудачу потому, что многие из них были плохими людьми. В конце концов, террористы мало что сделали в материальном или моральном плане для повышения уровня жизни, мало что сделали для продвижения равенства, которого они так жаждали и к которому люди идут через порядок, а не через преступление. Из всей их работы, напряженной и героической, какой она часто была, только одна часть, война, полностью процветала. Ведь во время Террора французы вложили в войну тот неодолимый энтузиазм, который породила Революция и который они больше не могли испытывать к политике дома. Террор никогда не был санкционирован Францией и никогда не получит одобрения потомков. Предполагать, что он был необходим, - лишь один из многих софизмов, которые слабые и благонамеренные люди выдвигают для смягчения ошибок. Даже оправдание национальной опасности было недостаточным, поскольку легкость, с которой якобинцы в Париже покорили своих врагов летом 1793 года, показывает, насколько сильны были их позиции, а зимой того же года исчезла всякая серьезная опасность вторжения. Террор был необходим, чтобы удержать террористов у власти и дать им возможность проводить в жизнь свои взгляды. Но он не был нужен ни для каких других целей, и уж точно не для спасения Франции.

ГЛАВА X.

Борьба партий и верховенство Робеспьера.

Именно в ноябре 1793 года, под влиянием Парижской коммуны, революция достигла своего апогея. Партия Коммуны была, несомненно, сильна. За ней стояла продуманная организация парижского муниципалитета. У нее было много сторонников в Якобинском клубе. Она полностью владела Кордельерами, некогда бывшими местом триумфа Дантона. У нее были друзья в Комитете общей безопасности. Ее поддерживали мэр Паше и военный министр Бушотт. В Комитете общественной безопасности у нее был мощный защитник в лице Колло д'Эрбуа, а в лице Каррье, Фуше и других проконсулов Террора - агенты, на которых можно было положиться. Эбер, его самый амбициозный лидер, как редактор газеты "*Пэр Дюшен*" пользовался влиянием в прессе. Шометт, более достойный ученик, занимал важный пост в Коммуне. Винсент, еще один его представитель, занимал важный пост в военном министерстве. Ронсен, командующий Революционной армией, предоставил ей помощь в виде эффективных сил. Другие политические деятели, не столь известные, Клоотц и Моморо, Десфье и Проли, Майяр, Шабо и Базире, иногда были связаны с ней и вносили в нее свой странный энтузиазм, свои сомнительные услуги и свои порочащие интриги. Вскоре цели Коммуны проявились без маскировки - уничтожить власть Конвента, узурпировать место правительства и сделать свои взгляды и героев главным авторитетом в государстве.

Провозглашение поклонения Разуму ознаменовало восхождение этой партии, и с этого момента начался ее упадок. Оргии, сопровождавшие ее триумф, тирания, которую она установила в Париже, развязность и жестокость, отличавшие ее представителей в департаментах, вызвали серьезное недовольство в рядах якобинцев. Большинство Конвента покорились, но покорились с негодованием и отвращением, и хотя у них не хватало смелости восстать, они были готовы принять любого, кто дал бы голос тому негодованию, которое они испытывали. В этих условиях среди сил того времени подняла голову вторая партия. Филиппо

и Фабр д'Эглантин, два известных депутата Горы, которые, как считалось, были в близких отношениях с Дантоном, выступили с нападками на действия эбертистов. Другие, такие как Вестерманн и Бурдон де л'Уаз, Лежандр, Лекуантр, Лакруа и многие другие, присоединились к атаке с большим или меньшим запасом. С той же стороны Камиль Десмулен бросился в бой со всем своим стремительным красноречием и пылом; а позади атакующих сил возвышалась, внушительная и заметная, как никогда, фигура человека, которого все считали лидером, и которого поднимающаяся оппозиция надеялась сделать выразителем своего протеста против Коммуны и Террора в равной степени.

Дантону, как и многим его современникам, вскоре надоела система Террора. Он с отвращением наблюдал за разрушениями, которые она несла. Ему не нравились политические интриги. Он остро чувствовал необходимость стабильности и порядка, если во Франции когда-нибудь снова появится устоявшееся правительство. Правда, в прежние времена Дантон сыграл главную роль в обеспечении триумфа якобинцев. В разгар революционной борьбы, в момент национальной опасности, никто не был готов действовать быстрее. Он воодушевил и организовал восстание 10 августа. В последующие опасные дни он ухватился за государственный штурвал. Многие из характерных якобинских мер - массовые аресты подозреваемых в сентябре, создание Комитета общественной безопасности, учреждение Революционного трибунала, максимума и налога на богатых, формирование Революционной армии, провозглашение Террора, призыв в армию и оборона Франции - были в значительной степени обусловлены его инициативой или поддержкой. Как и остальные члены его партии, Дантон выступал против объявления войны, но как только захватчики появились на границе, он душой и сердцем бросился в бой. Его мало волновали партийные заморочки, но он очень заботился о чести и величии своей страны. Свободный от узких теорий, от всепоглощающей ревности и болезненного честолюбия, Дантон всегда смотрел на события глазами государственного деятеля. Он видел недостатки Дюмуреца, но он видел и его выдающиеся способности, и он стойко поддерживал его до конца. Он, как и Мирабо до него, понимал, что управление страной никогда не будет процветать, пока не будет сформирована сильная исполнительная власть, и поэтому, как и Мирабо, он пытался убедить Конвент предоставить министрам места в Палате представителей. Лишь когда эта затея провалилась, он прибег к помощи влиятельного комитета. Он гораздо раньше своих коллег осознал глупость безрассудного декрета, которым в ноябре 1792 года Конвент объявил войну всем королям Европы, и через четыре месяца добился его отмены. Он знал толк в дипломатии, договорился о выходе Брауншвейга, попытался отделить Пруссию от коалиции, заключил союз со Швецией и неустанно трудился, невзирая на бурные речи своих коллег, чтобы вернуть Францию в сообщество наций. С момента смерти короля Дантон сделал все, что можно было сделать красноречивыми убеждениями, чтобы устранить разногласия и объединить партии в деле защиты Республики. Он с радостью сотрудничал бы с жирондистами, если бы они не подталкивали его своими буйными обвинениями к переходу в лагерь противников. "Если мы должны проливать кровь, - благородно заявил он однажды, - давайте проливать кровь врагов нашей страны".

Но когда опасность вторжения миновала, энергия Дантона ушла вместе с ней. Когда якобинцы победили и государство было спасено, он почувствовал, что ему нечем заняться. Он мало симпатизировал правительству Террора. Он устал от длинных рассказов о насилии и бесчинствах. Беспринципный и ожесточенный, каким он был, он с отвращением отвернулся от методов Каррье и Эбера. После второй женитьбы, состоявшейся в июне 1793 года, молодая жена и домашние радости позвали его к более чистым вещам, чем политика. Он знал пределы своих возможностей и понимал, что не сможет привнести в политическое маневрирование ту неотразимую энергию и убежденность, с которой он взбудоражил страну

и привел к власти своих коллег. До последнего, когда Филиппо и Десмулен заставили его выступить вперед и сделали невольным лидером, вокруг которого собралась партия реакции, он был склонен призывать их сложить оружие и вернуться к своим старым призывам к единству. Он ненавидел личную вражду и не был создан для того, чтобы быть вождем фракции. Но он был слишком заметен и слишком честен, чтобы оставаться на заднем плане, когда его товарищи рисковали жизнью ради дела, которое, как он знал, было делом милосердия и считал делом Франции.

Между Эбером и его сторонниками в Коммуне и партией, которая постепенно встала за Дантоном в оппозицию ко всей системе Террора, в качестве третьей стороны стояло тогдашнее правительство. Правительство, то есть Комитет общественной безопасности, не было, правда, полностью единым. Некоторые его члены, такие как Колло д'Эрбуа и в меньшей степени Бийо-Варенн, одобряли методы Коммуны и были в тесном контакте с ее вождями. С другой стороны, Робеспьеру претила жестокость многих представителей Коммуны, и его чувства разделяли Кутон и Сен-Жюст. Другие, как и Карно, не испытывали симпатий ни к Робеспьеру, ни к Эберу. Эро де Сешель был другом Дантона и симпатизировал его идеям. Но, как бы ни были они разделены, большинство членов Комитета чувствовали, что дело зашло слишком далеко. Они несли ответственность за управление страной и поэтому не могли спокойно смотреть на анархию и грабежи, которыми были отмечены действия агентов Коммуны. В данный момент они были королями Франции и не собирались уступать свой трон амбициозному парижскому муниципалитету или допускать какую-либо реакцию в Конвенте, которая лишила бы их власти, которую он позволил им узурпировать.

Таким образом, в ноябре, когда Колло д'Эрбуа отсутствовал в Лионе, возникло решительное движение против Коммуны. Робеспьер, с его сильным чувством приличия и благоговением перед сентиментальной теологией Руссо, был потрясен эксцессами материалистической партии и, воодушевленный признаками оппозиции в Конвенте, начал высказывать свое мнение. Как обычно, он действовал очень осторожно, но многозначительными намеками и фразами показывал свое негодование поведением Эбера. 17 ноября, в длинном докладе о внешней политике Франции, он воспользовался случаем, чтобы осудить "жестокую умеренность и систематическое преувеличение ложных патриотов". Четыре дня спустя в Якобинском клубе, отвечая на вызов Эбера, он произнес необычную речь по религиозному вопросу, а в конце предложил очистить клуб. Основания, на которых Робеспьер атаковал своих врагов, были характерно извилистыми и пронизательными. Атеизм, - утверждал он, - аристократичен. Идея верховного существа, которое следит за угнетенной невинностью и наказывает торжествующее преступление, - это, по сути, идея народа".

Как ни осторожны были действия Робеспьера, большинство быстро сплотилось вокруг него. Дантон вернулся в Париж и встал на сторону Робеспьера. "Мы не уничтожали суеверия, - кричал он, - чтобы установить власть атеистов". В Конвенте он ратовал за более мягкие меры, и призывал, чтобы меч террора был направлен только на тех, кто признан виновным в преступлении. По мере того как продолжалась проверка якобинцев, победа противников Коммуны становилась все более явной. Атаки на Дантона и Десмулена потерпели крах. Робеспьер защищал их с духом и энтузиазмом и просил, чтобы его судили на стороне Дантона. 4 декабря Конвентом был принят новый закон, укреплявший власть Комитета общественной безопасности, ставивший под непосредственный контроль все органы власти, подавлявший революционные армии и агентов Коммуны в департаментах, запрещавший повышать налоги иначе как по декрету Собрания и распространявший правительственный контроль на комитеты в парижских секциях. Результатом этих

решительных мер стало значительное усиление власти Комитета и ослабление влияния Коммуны как в провинциях, так и в самой столице.

Реакция против Коммуны безоговорочно началась. На следующий день после декрета Конвента вышел первый номер *"Вье Корделье"*. Эбертисты, потерпевшие поражение от якобинцев, устроили свою штаб-квартиру в клубе Кордельеров; чтобы подчеркнуть разницу между новыми доктринами и духом, который вдохновлял Кордельеров в прежние времена, Камиль Десмулен дал своему протесту название клуба, где его остроумие и красноречие Дантона когда-то пользовались неоспоримым авторитетом. Известно, что Дантон и его друзья симпатизировали мнениям нового журнала. Робеспьер исправил первый номер в гранке. Десмулен начал с обличения эбертистов, но по мере того, как поднималась волна реакции и друзья умеренности набирались мужества, он перешел к нападкам на всю систему Террора и в знаменитом третьем номере своей газеты смело обличал его тиранию и преступления. Через два дня, 17 декабря, Конвент по предложению сторонников Дантона постановил арестовать трех агентов Коммуны, Винсента, Ронсена и Майяра. Свободно выдвигались предложения по обновлению и перестройке самого правительства. В зале заседаний Конвента появились группы просителей, просивших о милосердии к подозреваемым. Робеспьер предложил назначить комиссию для рассмотрения всех случаев несправедливого ареста. Камиль Десмулен обратился к Робеспьеру и страстно призвал к милосердию. Свобода, которой я поклоняюсь, - это не неведомый Бог..... Это счастье, разум, равенство, справедливость..... Робеспьер, друг и товарищ моих школьных лет, чьи красноречивые слова наши дети будут часто читать, вспомните историю и философию, которые мы изучали. Помните, что любовь сильнее и живет дольше страха, что благоговение и религия проистекают из доброго отношения... и что ни один человек не может подняться на небеса по запятнанным кровью ступеням". Почему, - с горечью воскликнул писатель, заканчивая свой мощный призыв, - почему сострадание стало преступлением во Франции?

Реакция достигла такого накала, когда 21 декабря Колло д'Эрбуа неожиданно прибыл в Париж. Эбертисты приветствовали его как избавителя. "Гигант прибыл, - радостно воскликнул Эбер, - верный защитник санкюлотов", и Колло сразу же встал на сторону своих союзников. Полный сил и уверенности в себе, лионский палач не испытывал никаких угрызений совести по поводу Террора. Он осуждал все идеи умеренности. Его присутствие оживило Комитет, ободрило партию Коммуны и разрушило надежды реакции. Взятие Тулона, произошедшее примерно в то же время, способствовало росту престижа правительства. Многие, кто приветствовал призыв Десмулена, начали чувствовать, что они были слишком поспешны. Набравшись смелости, Коммуна потребовала и добилась освобождения своих заключенных агентов. Комиссия по расследованию случаев несправедливых арестов была отменена. Колло д'Эрбуа быстро добился своего влияния на якобинцев и в Комитете, и все колеблющиеся, как обычно, перешли на сторону более сильного. Робеспьер, встревоженный таким поворотом событий, начал отмежевываться от своих новых союзников, сетовать на ожесточение партийных чувств и заявлять, что его цель - "разгромить фракции, иностранцев и умеренных, но не губить патриотов". Даже Дантон воспользовался случаем, чтобы заявить о своей лояльности правительству, и постарался сдержать неосторожные заявления своих друзей.

Весь январь и февраль 1794 года продолжалась борьба партий, в которой преобладала самая ожесточенная вражда. В партии якобинцев соратники Десмулена возобновили натиск на последователей Эбера, но уже без прежнего успеха. Робеспьер постоянными речами старался закрепить свое положение в клубе и старательно избегал примыкания к той или иной стороне. Но его позиция изменилась. Он стал проявлять нескрываемую враждебность к

Филиппо и Фабру д'Эглантину, наиболее откровенным представителям умеренной партии. Он перешел на тон отеческого упрека по отношению к Камиллю Десмулину и предложил сжечь *Вье Корделье*, которое он когда-то сердечно приветствовал. Дантон, удрученный и смущенный, впал в вялое бездействие и довольствовался тем, что отрешивался от личных нападков. Шансы на реакцию против террора исчезали, и правительство с каждым днем все сильнее разжигало вражду как эбертистов, так и дантонистов.

Наконец, после долгих недель борьбы и интриг, наступил кризис. В конце февраля Сен-Жюст вернулся в Париж из миссии в провинциях и оказал новое влияние на события. Сен-Жюст был верным учеником Робеспьера, но обладал гораздо большей энергией и решительностью, чем его вождь. Он разделял неприязнь Робеспьера к Эберу, но не разделял его добрых чувств к Дантону. Десмулен высмеивал чопорность поведения молодого члена Комитета, а для Сен-Жюста высмеивание было непростительным проступком. Пока Робеспьер, ссылаясь на недомогание, отстранялся от заседаний Комитета, Сен-Жюст заявил о себе без всякой маскировки. Он предложил укрепить власть правительства, принес в жертву и дантонистов, и эбертистов. Он значительно осуждал "величайших преступников, которые пытаются разрушить эшафот только потому, что их пугает перспектива взойти на него самим". Его присутствие, похоже, разбудило его коллег, как до этого разбудило их появление Колло. Коммуне вновь пришлось ощутить на себе тяжесть власти Комитета. Декрет Конвента конфисковал имущество подозреваемых, чтобы обеспечить нуждающихся патриотов, и этой большой взяткой уменьшил влияние, которым Коммуна пользовалась среди нуждающихся бедняков. Гебертисты, теперь уже основательно встревоженные, предприняли последнюю попытку заявить о себе. Они устраивали бурные собрания в клубе Кордельеров и предавались безрассудным планам восстания. Но даже Колло д'Эрбуа, похоже, почувствовал, что лидеры Коммуны зашли слишком далеко, и дал свое согласие на политику Комитета. Сен-Жюст возглавил наступление. В ночь на 13 марта Эбер и его главные соратники были арестованы. На следующий день Робеспьер вновь появился в Конвенте и занял свое место в Якобинском клубе. Впервые в истории революции менее крайняя партия, за которой стоял законный авторитет, выступила против сил мятежа, перешла в наступление и одержала победу.

С одной стороны, враги правительства пали. Оставалось только избавиться от оставшихся. Крайние террористы согласились на гибель своих друзей в Коммуне, но только при условии, что погибнут и сторонники милосердия. Умеренная партия имела много сторонников в Конвенте, и представляла серьезную опасность для верховенства Комитета. Они рассчитывали на поддержку Дантона, и хотя Дантон мало их поощрял, они использовали его великое имя для продвижения своих замыслов. "Дантон спит, - говорил Десмулен, снова берясь за перо, чтобы атаковать систему и агентов Террора, - Дантон спит, но это сон льва, и он проснется, чтобы защитить нас". Но силе и энергии Дантона, похоже, суждено было никогда больше не проснуться. Сердечно уставший от заговоров и группировок, ясно осознающий грозящую ему опасность, но не способный воспрянуть духом, чтобы ее предотвратить, не желающий принимать меры для самозащиты или для борьбы с противниками их же оружием интриг, Дантон оставался нерешительным и бездеятельным. Он не желал гибели своим врагам, и не верил, что враги осмелятся на гибель ему. Возможно, он полагался на дружбу Робеспьера и забыл, что Робеспьер не тот человек, который будет рисковать своим возвышением ради спасения чужой жизни. Во всяком случае, когда наступил кризис, Робеспьер проглотил все угрызения совести и согласился объединить правительство, оставив Дантона его противникам. В ночь на 30 марта Дантон, Десмулен и их

коллеги были арестованы, а на следующий день Робеспьер выступил с осуждением "разбитого идола" в Конвенте. Выступление Дантона перед Революционным трибуналом отличалось его привычной презрительной смелостью. "Мое местопребывание, - сказал он, отвечая на вопросы судьи, - скоро будет в вечности; мое имя вы найдете в Пантеоне истории". Он горячо и гордо защищался от нелепых обвинений в роялистском заговоре. Его энергичное красноречие произвело столь глубокое впечатление, что его обвинители затрепетали перед последствиями и приняли исключительные меры, чтобы прервать процесс. 5 апреля Дантон был гильотинирован. Теперь я вижу, - сказал он, - что во времена революции власть в конечном счете достается самым большим негодяям..... Лучше быть бедным рыбаком, чем вмешиваться в управление людьми!

Падение Дантона оставило Робеспьера самым заметным человеком во Франции. По характеру и репутации он не имел соперников в комитетах, и именно на его популярность в значительной степени опиралось правительство. В некоторых вопросах Робеспьер выгодно отличался от своих коллег. Его жизнь была экономной, чистой и достойной. Его одежда всегда была опрятной. Чувство приличия никогда не покидало его. Его преданность своим принципам и ненависть к свободе и непочтительности были искренними. Он прекрасно олицетворял собой самодовольный филистерство определенного типа французских буржуа. Его язык дышал добродетелью и эмоциями. Его затянутые, дидактические обобщения, его постоянные призывы к морали и совести навязывали благонамеренные, узкие умы и, несомненно, навязывали его собственные. Последователи Робеспьера, особенно женщины, на которых он имел большое влияние, принимали его по достоинству. Они не замечали его удивительного эгоизма. Они не возмущались теми качествами, благодаря которым он предстает перед нами типичным ханжой в истории. Им нравились длинные абстрактные рассуждения, которые были модой его времени и секты. Им нравилась его простая респектабельность. Им нравилась его война с коррупцией. Им нравились его чувства к религии и его обильные сентименты. Они были очарованы его высокопарными и непрактичными идеалами. Они изумлялись, когда он, как не уставал повторять, рассказывал о своих достоинствах. Робеспьер был по сути священником, и он пользовался обаянием священника, неустанно проповедуя и беззастенчиво требуя восхищения своей паствы. "Я никогда не склонялся, - кричал он, - под игом низости и разврата". В окружении убийц меня мало что примиряет с жизнью, кроме любви к своей стране и жажды справедливости". Я - живой мученик Республики, одновременно жертва и враг преступлений". Если такие истины нужно предать забвению, то принесите мне болиголов". Он постоянно провозглашал себя защитником нравственности, постоянно заявлял о своей готовности умереть за нее. Он повторял это так часто и верил в это так сильно, что заставлял верить в это и своих последователей.

Более того, чувства Робеспьера были искренними. Он привез с собой из Арраса репутацию молодого провинциального юриста, честного, трудолюбивого и нежного, любителя безразличных стихов и домашних птиц. В ранние годы он отказался от почетной должности вместо того, чтобы обречь человека на смерть. С самого начала он выступал как друг человечества, как защитник несчастных и угнетенных. Если возникал вопрос о подавлении беспорядков, он всегда выступал против суровости. Он выступал за отмену смертной казни. Он отстаивал интересы цветного населения. Он не раз проявлял свою симпатию к священникам. Позже он защищал семьдесят три члена Конвента, подвергшихся нападению за протест против ареста Жиронды. Известно, что он возмущался обращением с мадам Елизаветой и оскорблениями, нанесенными Эбером королеве. Он не принимал личного участия в бесчинствах проконсулов Террора. Он осуждал аморальность и материализм

лидеров Коммуны. Он помог добиться отзыва Каррьера. Сознательной жестокости не было места ни в его речах, ни в его идеалах.

Но если перейти от речей Робеспьера к его действиям, то обнаруживается совсем другая история. Напрасно его апологеты пересказывают его язык, останавливаются на его заявлениях о добродетели, на его постоянном повторении благожелательных замыслов. Его карьера резко контрастирует с его часто повторяемыми принципами, и никакие извинения не могут объяснить его карьеру. Наиболее заметными чертами общественной жизни Робеспьера были безынициативность, изворотливость и глубокая некомпетентность как практического политика. Вряд ли можно назвать хоть одну выдающуюся меру Террора, кроме развития Революционного трибунала, в котором Робеспьер принимал ведущее участие. Его метод заключался в том, чтобы бороться с каждым предложением и каждой партией, но редко выступать с каким-либо предложением самому. Если наступал критический момент, Робеспьер всегда ждал решения, прежде чем заявить о себе. Он никогда не избавлялся от нервной нерешительности. Он никогда не шел на жестокий риск и не брал на себя инициативу в насильственных действиях. Эти черты проявляются на каждом этапе его карьеры. В трудные дни июля 1791 года, во время "бойни на Марсовом поле", он вел себя с образцовой осторожностью. Год спустя, 10 августа, он оставался в тени, пока не решилась битва, но 11-го, когда победа была одержана, он открыто присоединился к Коммуне. Позже, хотя он и ненавидел доктрины эбертистов, он не осмеливался прямо нападать на них. Он лишь делал намеки против них, пока не увидел, в какую сторону течет волна, а затем попытался дискредитировать их, утверждая, что атеизм - это аристократическая идея! Он отсутствовал по болезни, пока их судьба решалась в Комитете, но на следующее утро после их ареста он снова появился на публике. Он горячо поддерживал Десмулена в его крестовом походе против Коммуны, но изменил свой тон, как только появление Колло д'Эрбуа перевесило чашу весов в сторону взглядов Десмулена, и в конце концов без борьбы отбросил человека, который долгие годы был его горячим поклонником и другом. С таким же вероломством он пожертвовал Дантоном, как только стало ясно, что сильнейшая партия настроена на его уничтожение, и сразу же после ареста выступил с осуждением коллеги, на стороне которого всего за несколько недель до этого он гордо просил встать. Конечно, не исключено, что Робеспьер, обладая замечательным умением самообмана, мог в каждом случае убеждать свою совесть в том, что он действует так, как того требуют интересы добродетели. Но трудно какими бы то ни было софизмами оправдать столь бессердечный оппортунизм и избежать убеждения, что, кто бы ни пал, Робеспьер был настроен быть на стороне победителя.

Едва ли менее заметной, чем его извилистые маневры, была его некомпетентность в практических делах. Его речи представляли собой трактаты, полные туманных и абстрактных рассуждений, в которых постоянно появлялись одни и те же формы и фразы, но в них не было ни определенности, ни смысла, они мало опирались на факты и, как правило, не имели никаких практических выводов и результатов. Казалось, он говорил ради того, чтобы говорить, но слушатели, принявшие его теорию как Евангелие, казалось, никогда не уставали от голоса священника. В разгар борьбы между соперничающими партиями в январе 1794 года Робеспьер торжественно предложил якобинцам рассмотреть "преступления английского правительства и пороки британской конституции". В другое время, когда интерес и активность Робеспьера были высоки, он занялся составлением пространного обвинительного заключения против монархов всего мира. В другой раз он внес в практическую дискуссию несколько ярких замечаний, в которых настаивал на том, что начало Революции было во многом обусловлено решимостью "лондонского кабинета... посадить герцога Йоркского на трон Людовика XVI", и что Питт был "имбецилом... который,

злоупотребляя влиянием, приобретенным им на острове, бессистемно расположенном в океане", вынашивал планы, достойные только сумасшедшего дома. Неудивительно, что его коллеги по правительству, которые почти все были энергичными людьми действия, стали относиться к нему с чем-то похожим на презрение. На протяжении всей революции Робеспьер вел себя одинаково. Он никогда не проявлял особых практических способностей. Свержение монархии, установление республики, разгром интервентов, триумф революционного правительства, организация национальной обороны - все это в малой степени зависело от него. В Комитете общественной безопасности его заслуги, за исключением полицейских вопросов, были незначительны. Сам он делал мало полезного, а его ревнивое вмешательство только мешало и смущало тех, кто этим занимался. Он никогда не выезжал в командировки. Оснащение армии и флота, управление продовольственным снабжением, контроль над проконсулами, управление страной, героические труды Ужасного комитета лежали на других руках. Робеспьер был лишь его неутомимым оратором, наблюдающим, лавирующим, беспрестанно рассказывающим о своих идеалах, добродетелях и о себе. Даже после падения Дантона, когда у него появился широкий простор для реализации своих замыслов, все, что он внес в качестве практического реформатора в утопию, которую он описывал сотни раз, было маскарадом по дискредитации религии и самым кровожадным полицейским правом, какое только видел мир.

Но как ни был Робеспьер укутан в самодовольство, он всегда был достаточно бодр, чтобы подозревать и завидовать другим. Доктрина недоверия была частью якобинского вероучения. Привычка подозревать других, казалось, развивалась у всех, кто исповедовал веру, и постепенно искажала их взгляды и обесцвечивала их суждения. Робеспьер 1794 года, ревнивый, нервный, надутый фанатик, сильно отличался от искреннего, узколобого юриста, который за пять лет до этого отправился из Арраса, чтобы принять участие в возрождении Франции. Как Марат под влиянием якобинской теории и среди отчаянных волнений того времени превратился из опустившегося идеалиста в яростного поборника убийства, так и Робеспьер развивался. Мания паники и подозрительности охватила его. Опасности, которым подвергались он и его соратники, убедили его в том, что он мученик, а все, кто не признавал его достоинств, были заговорщиками, жаждущими его смерти. "Глядя на множество пороков, которые обрушила на него Революция, - воскликнул он в своей последней большой речи в Конвенте, - я иногда содрогался от страха, что меня запятнает нечистое соседство злых людей. Я знаю, что тиранам мира легко одолеть одного человека; но я знаю также, каков долг человека, который может умереть, защищая человечество". Во второй половине карьеры Робеспьера казалось, что для него нет ничего слишком невинного, чтобы не доверять, или слишком неправдоподобного, чтобы подозревать. "Я не обязан размышлять, - говорил он Гарату, - я всегда полагаюсь на первые впечатления". Он верил, что его инстинкт не может ошибаться, а инстинкт всегда думал о худшем. "Очевидно, - сказал он однажды Гарату, ранней весной 1793 года, - жирондисты участвуют в заговоре". "Где?" - спросил Гарат. Повсюду, - ответил Робеспьер. Ему не нужны были факты, чтобы доказать это. Его добродетель, сторожевой пес Республики, говорила ему, что это правда. В один момент предателем был Лафайет, в другой - Бриссо, в третий - Дюмуре, в третий - Эбер. Серван, настаивал он, получил командование в Пиренеях, чтобы передать ключи от Франции Испании. "Нет ли у вас сомнений в этом?" - спросил Гарат. "Никаких", - ответил непогрешимый педант. Робеспьер снова и снова разоблачал таинственные заговоры и предательства в Париже, в департаментах, в Коммуне, в Конвенте. Он не сомневался, что разоблачает предателей, а предателей он не стеснялся отправлять на гильотину. В частности, генералы Республики были выделены Робеспьером как объекты тревоги. Именно он отправил на эшафот Кюстина и отверг предположение о необходимости письменных доказательств его вины. Именно он принял самое активное участие в осуждении Гушара и

приговорил его к подобной участи. Именно он впервые усомнился в добросовестности Келлермана. Именно он, не имея никаких доказательств, приказал арестовать Хоше по обвинению в государственной измене .[11]

Нарастание этой лихорадки подозрительности, которая была характерна для большинства членов партии якобинцев, но особенно ярко проявилась у Марата и Робеспьера, позволяет понять, как человек, от природы не отличавшийся ни жестокостью, ни беспринципностью, стал в значительной степени ответственным за кровопролитие Террора. Апологеты Робеспьера тщетно пытались защитить его от этого упрека и утверждали, что он всегда стремился остановить террор. Но даже их защита Робеспьера содержит неопровержимые доказательства его вины. Его положение после падения Дантона было неоспоримо прочным. В двух правящих комитетах, хотя у него были враги и критики, его тесно поддерживали Кутон и Сен-Жюст. Его популярность в Париже была значительной. Его репутация в собственной партии была выше, чем у любого из его коллег. Якобинский клуб был его оплотом. После триумфа Комитета в марте 1794 года Коммуна была воссоздана, и ее новые главы, Флерио и Пайан, были преданы интересам Робеспьера. Революционная армия столицы была распущена, но Ганриот, закадычный друг Робеспьера, сохранил за собой командование Национальной гвардией и ревностно служил Робеспьеру. Министерства также были подавлены. Вместо них были назначены двенадцать новых комиссий, и при назначении в них Робеспьер, естественно, пользовался большим влиянием. Если бы Робеспьер действительно захотел использовать свою власть для смягчения Террора, трудно поверить, что он не смог бы сделать это с успехом. При существующем состоянии общественного мнения он мог бы заручиться поддержкой подавляющего большинства. Подавляющее большинство членов Конвента, как показало их поведение до и после, только и ждали возможности бросить свой вес на чашу весов милосердия.

Но дело в том, что влияние Робеспьера все время использовалось в противоположном направлении. Ему, правда, не нравились беспорядочные эксцессы, сопровождавшие Террор в департаментах. Он хотел централизовать и упорядочить систему, сделать ее единообразной, нравственной и благопристойной, вырвать власть меча из рук людей, которым он не доверял и которых недолюбливал. Но он не хотел положить этому конец. Полицейский закон от апреля 1794 года, предписывающий доставлять всех заговорщиков в Париж для суда, и создание нового Бюро полиции под руководством Сен-Жюста и самого Робеспьера были призваны предотвратить совершение в провинциях преступлений, подобных Каррьеру, и лишить противников Робеспьера в Комитете общей безопасности монополии в вопросах полиции. Но это не были меры сострадания. С самого начала Робеспьер принимал самое активное участие в создании и развитии Революционного трибунала. Он снова и снова протестовал против его задержек и ненужных форм. Достигнув апогея своего могущества, он отбросил эти формы. В Революционном трибунале у него были верные приверженцы. Его работа в Комитете общественной безопасности всегда была в значительной степени связана с вопросами полиции. Террор был неотъемлемой частью его системы. Он искренне верил, что его Утопия не сможет процветать, пока не уничтожит нечестивцев, и против нечестивцев он, соответственно, точил меч смерти.

К этому крестовому походу против врагов своего идеала он примешивал планы произвольного благодеяния. И Сен-Жюст, и Робеспьер были полны решимости основать задуманное Руссо государство, в котором все будут равны, добродетельны, просвещены, без бедности и богатства, непочтительности и греха. В качестве шага к этому они решили основать церковь Руссо. 18-го Флореаля (7 мая) Робеспьер побудил Конвент провозгласить веру в Верховное существо и бессмертие души. 20-го Прериала (8 июня) он отпраздновал, в

одном из самых странных зрелищ истории, праздник нового божества во Франции. Облаченный в блестящий мундир, неся букет цветов и снопы кукурузы, Робеспьер во главе процессии вышел на Марсово поле, сжег символы атеизма и порока и торжественно провозгласил новую религию. "Здесь, - воскликнул он, - собралась Вселенная. О Природа, как возвышенна, как изысканна твоя сила! Как поблещут тираны при известии о нашем празднике! И в течение двух дней после этого идеального праздника он приступил к работе по реорганизации механизма гильотины. За несколько недель до этого он принял главное участие в учреждении, по требованию своего единомышленника Мейне, чрезвычайного трибунала в Оранже на юге, и собственноручно составил инструкцию, в которой говорилось, что совесть судей должна быть единственным критерием виновности обвиняемого. В законе от 22 прерияля этот чудовищный принцип был доведен до конца. Декрет предусматривал, что для ускорения работы Революционный трибунал должен быть разделен на четыре секции, что заключенных впредь будут судить партиями, что им больше не будут предоставлять адвоката для защиты или разрешать вызывать свидетелей для защиты, а вопрос об их виновности должен быть оставлен на усмотрение просвещенной совести присяжных! Результатом этого предложения стало то, что за шесть-семь недель число жертв гильотины превысило тринадцать сотен, что значительно превышало общее число, достигнутое за первые пятнадцать месяцев существования трибунала. Перед лицом этой меры, которая, несомненно, была делом рук Робеспьера, бесполезно делать вид, что он хотел остановить Террор. Несомненно, ему не нравились его экстравагантность и свобода действий. Несомненно, он хотел поразить некоторых из террористов. Но, кроме этого, нет никаких доказательств того, что он пытался остановить его, против него говорит вся его политика и свидетельство этого гнусного декрета.

Но восхождению Робеспьера суждено было быть коротким. Большинство его коллег начали бояться его. Они знали, что он ревнует их к власти. После 10 июня он держался все более отстраненно^[12]. Он не отказался от места в Комитете, но, обнаружив, что не может заставить его членов признать свое превосходство, начал разрабатывать планы новой чистки правительства, отмежевываясь от своих коллег и концентрировать свои силы в Коммуне и в Якобинском клубе. Наконец, понимая, что разрыв неизбежен, Сен-Жюст и другие призывали его принять решительные меры против своих противников. Но Робеспьер, всегда неспособный к решительным действиям, предпочитал ограничиваться речами и туманными намеками на заговор и измену. 8 термидора (26 июля) в длинной и загадочной речи, отмеченной его привычным и поразительным эгоизмом, он осудил заговоры против Конвента и потребовал наказать злодеев. Но он никого не назвал, и его угрозы напугали всех. В ту ночь комбинация, которая постепенно складывалась против него, дошла до конца. Талльен, Бийо, Бурдон и другие, дантониисты и эбертисты, все партии одинаково решили объединиться, чтобы спасти свои жизни. На следующий день, 9 термидора, наступил кризис, и Конвент, раз действуя единодушно и энергично, отклонил апелляцию Робеспьера и смело приказал его арестовать. В течение нескольких часов исход борьбы оставался под вопросом. Коммуна встала на защиту Робеспьера. Его освободили из тюрьмы и с триумфом понесли в Дом де Виль. Анрио вызвал на помощь своих артиллеристов, и Коммуна вновь предложила поднять восстание. Но имя Коммуны больше не звучало в столице. Конвент держался с необычайным мужеством. Он объявил вне закона всех главных заговорщиков. Он принял оперативные меры по организации сопротивления, по пробуждению Парижа, по призыву на помощь сил секций. Престиж Национального собрания, когда оно объединилось, все еще оставался незыблемым, и войска Анриота не решались атаковать его. На рассвете следующего дня силы Конвента перешли в наступление и двинулись к гостинице де Виль. Мятеж рухнул, а Робеспьер и его единомышленники погибли. Наконец-то законная власть во Франции, так долго парализованная и сломленная, решилась на

решительные действия и применила силу, чтобы заставить себя подчиниться. С момента возрождения ее бодрости триумф был обеспечен, а с триумфом началась реакция.

СНОСКИ:

[11] Это признает даже М. Хамель (*Hist. de Robespierre*, III. p. 499 et seq.), хотя он и пытается, не слишком убедительно, переложить ответственность на Карно. Карно утверждает, что спас жизнь Хоше. Он, несомненно, участвовал в издании приказа о его освобождении из тюрьмы почти сразу после падения Робеспьера.

[12] Сам Робеспьер заявил 8 термидора, что в течение последних шести недель он "полностью отказался от своих функций члена Комитета общественной безопасности". Луи Блан утверждает, что поэтому он не несет ответственности за Террор. Но другой почитатель Робеспьера, Гамель, постарался доказать, что Робеспьер постоянно присутствовал на заседаниях Комитета вплоть до 9 термидора, и решил, что его предполагаемая отставка, следовательно, должна была быть "toute morale" (vol. III. pp. 594-601).

ГЛАВА XI.

Реакция.

С падением Робеспьера Террору пришел конец. Люди, свергнувшие его, были во многом хуже него. Они не собирались отречься от его системы. Они действовали из личных побуждений, из желания сохранить свою жизнь и удержаться у власти. Но без Робеспьера Террор не мог продолжаться. Только его репутация нравственной искренности и бескорыстной убежденности примирила с ним многих честных, узколобых людей, которые приняли его теорию, поверили в его искренность и не могли критиковать его действия. В нем и его соратниках погибли принципы Террора. Некому было набросить на систему вуаль сентиментальной добродетели, и без этой вуали обнажились ее уродливые стороны. Люди, которые до последнего уважали Робеспьера, не могли уважать Колло д'Эрбуа или Бийо-Варенна. Конвент, восставший против Робеспьера, вряд ли, почувствовав вкус свободы, наденет на свою шею ярмо его коллег. Комитет общественной безопасности казался неодолимым, пока он был един. Но когда он распался на партии и обратился к Конвенту с просьбой защитить его, его диктатура неизбежно прекратилась.

Поэтому в течение нескольких недель, последовавших за 9-м термидором, был принят ряд мер, свидетельствующих о нарастании реакции. Комитет общественной безопасности был перестроен, и была введена система, по которой три его члена ежемесячно уходили в отставку без права переизбрания. Конвенту и его комитетам были возвращены полномочия правительства. Был воссоздан Революционный трибунал и отменен закон от 22 прерияля. Сопrotивляющаяся Коммуна была упразднена, а для целей местного управления Париж перешел под власть департамента Сены. Штат Национальной гвардии был реорганизован. Революционные комитеты в Париже и других городах были сокращены по численности и лишены своих полномочий. Собрания секций были ограничены тремя в месяц, а декрет, предусматривавший выплату сорока су всем гражданам, принимавшим в них участие, был отменен. В департаментах были отсеяны и заменены чиновники коммун и клубов. Повсюду открывались двери тюрем, и сотни заключенных выходили на свободу. Еще до конца августа в Конвенте раздались голоса против террористов, остававшихся в правительстве, а в начале сентября Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа и остальные террористы ушли в отставку.

С наступлением осени темпы реакции нарастали. Якобинцы, правда, все еще были многочисленны и активны. Хотя репутация ведущих террористов пошатнулась, Гора все еще была силой в Конвенте. Кроме членов старых комитетов, многие депутаты, такие как Ромм и Субрани, Гужон и Бурботт, без колебаний придерживались крайних якобинских взглядов. Другие, такие как Тьюрио и Камбон, не были готовы зайти слишком далеко с реакцией. Якобинский клуб, хотя и ослабленный падением Робеспьера, возобновил свою прежнюю активность и, поддерживаемый некоторыми своими единомышленниками в провинциях, решил не сдавать свою власть без борьбы. Бийо-Варенн страстно заявлял, что старый лев еще не умер. Но прилив сил был направлен против Горы. Большинство Конвента было решительно настроено во что бы то ни стало порвать с системой Террора. Депутаты от правых и центра восстановили свои голоса под мужественным руководством Буасси-д'Англаса и Тибодо. Термидорианцы под руководством Тальена и Фрерона перешли на сторону умеренных депутатов и собрали вокруг себя многих старых дантонистов и многих старых приверженцев Горы, Лежандра, Лекуантра и Бурдона де Уаза, Мерлена из Тионвиля и Мерлена из Дуэ, Камбасера и Андре Дюмона. Съезд, освобожденный от необходимости молчать, привлек на ту же сторону свое жеманство непостижимой мудрости. Воодушевленное расколом в Собрании, общественное мнение выразило себя вовне. Возродилась независимость прессы. Газета Фрерона *"Народный оратор"* смело встала во главе реакционных журналов. Суд над заключенными, присланными из Нанта, чтобы судить их в Париже, впервые открыл публике худшие беззакония правления Каррьера, и в последующие недели и месяцы начали поступать свидетельства против агентов Террора. Возмущение против террористов в Париже росло с каждым днем. Реакционное чувство проявлялось с огромной силой в секциях, кафе, на улицах. Группы молодых людей, некоторые из которых были людьми семейными и богатыми, но большинство - из числа торговцев, клерков и ремесленников, представляя собой подавляющее большинство респектабельных людей, которые так долго позволяли тиранить себя и которые уже в мае 1793 года продемонстрировали свою готовность восстать, собирались в Пале-Рояле, некогда штаб-квартиру революционной агитации, организовались в действенную силу, вооружились короткими и тяжелыми палками и под предводительством Лакретеля и при поддержке Фрерона и Тальена начали шествовать по улицам, подавлять якобинских ораторов и собрания, презирать якобинские мнения и вести войну против якобинства, в какой бы форме оно ни проявлялось. В некоторых отношениях "Молодые люди" были экстравагантны и смешны, и в более поздние времена термидорианцам было выгодно превращать их жеманство в насмешку и называть их "Молодежью Доре", "Элегантами" и "Маскадинами". Но по своему происхождению они, во всяком случае, представляли собой подлинное народное движение, и вплоть до апреля 1795 года они сердечно сотрудничали с умеренной партией и оказали неоценимую услугу в уничтожении терроризма, который якобинцы установили в Париже. Вместе с новым движением в моду вошла новая песня, и "Молодые люди", отвергнув "Марсельезу", запели на улицах "Ревель дю Пепл": - "Quelle est cette lente".

"Что это за варварская любовь?
Hâte-toi, peuple souverain,
Отдайте монстрам Тенара
Tous ces buveurs de sang humain".

Реакция в Париже вскоре дала о себе знать в Ассамблее. Нападки на террористов и их сторонников удвоились. В октябре был принят закон, запрещающий объединение народных

клубов. 12 ноября Комитет общественной безопасности объявил о закрытии Якобинского клуба. В том же месяце был арестован Каррье. Его отправили на суд в Революционный трибунал, а через несколько недель - на эшафот. 8 декабря семьдесят три депутата, которые были заключены в тюрьму за протест против изгнания Жиронды, были возвращены на свои места в Конвенте. В конце того же месяца Ассамблея решила, что есть основания для расследования обвинений против Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Вадье и Барера. Ближе к зиме правые, усиленные семьюдесятью тремя и решительно настроенные на ликвидацию последствий Террора, потребовали пересмотра законов против эмигрантов и священников, а также восстановления в некоторых случаях имущества, конфискованного за политические преступления. В феврале 1795 года Конвент провозгласил свободу всех форм религиозных убеждений; но в то же время он продолжил действие уголовных законов против священников-неучителей, наложил ряд ограничений на отправление общественного культа и, отказавшись вносить вклад в поддержание какой-либо религии, сохранил право собственности на здания и имущество старой церкви. В июне был сделан еще один шаг в сторону принципов полной веротерпимости, который затем был отменен под влиянием левых. 2 марта Лежандр внес предложение об аресте Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Вадье и Барера. 8-го числа оставшиеся в живых лидеры жирондистов, запрещенные 31 мая, включая Иснара, Ланжуина и Луве, были отозваны на свои места в Собрании. Казалось, что триумф реакции обеспечен.

Но якобинцы не должны были пасть без борьбы. Они уже не раз одерживали победу, взывая к физическим нуждам бедняков, и именно с помощью этих средств они пытались одержать новую победу. Весной 1795 года бедственное положение в Париже было исключительно острым. Вместе с политической реакцией началась реакция экономическая. После Термидора стало очевидно, что экономическая система Террора не выдержит. Ее жесткие законы игнорировались всеми сторонами. Никакие наказания и запреты не могли заставить людей соблюдать законы, которые они решительно не желали нарушать. Государство могло установить цену на продукты питания, но производители не стали бы их производить по этой цене, и когда гильотина перестала заставлять подчиняться, тщетные попытки государства установить цены потерпели крах. Экономические причины, более мощные, чем любые законы, низвергли Максимум, и наконец, в конце декабря, Конвенция признала этот факт и отменила декреты о Максимуме. С отменой максимума рухнула вся система финансов террористов. Практика реквизиций была отменена. Были сняты ограничения на внешнюю торговлю и вывоз специй. В короткое время была вновь открыта биржа. Неустрашимый эксперимент, с помощью которого экономисты Террора пытались сосредоточить в руках правительства всю коммерческую систему страны, рухнул, и старые методы монополии и конкуренции, которые Террористы так постоянно осуждали и на которые они так смело и безрассудно нападали, вновь обрели свою силу и понесли свое наказание. Финансовая система Террора была чудовищно ошибочной, но своими драконовскими методами она в какой-то степени сдерживала рост цен и, возможно, спасла от уничтожения исчезающий кредит ассигнатов. Однако даже при Терроре стоимость ассигнатов упала. Несмотря на властные требования казначейства Террора, несмотря на его принудительные займы и массовые конфискации, несмотря на грабежи, которые он брал со своих жертв, и на деньги, которые, как хвастался Барер, он чеканил на площади Революции, якобинское правительство никогда не было свободно от финансовых проблем. Неуплата налогов, махинации местных властей, неспособность принудительных займов принести хоть что-то похожее на ожидаемую сумму, обесценивание национального имущества, невежество в экономике, преобладавшее среди правящей партии, и, прежде всего, огромные расходы на войну, администрацию и снабжение Парижа и больших городов продовольствием, привели к вечному дефициту. "Революция и война, - заявил Камбон, главный финансист Террора, в

отчете за январь 1795 года, - обошлись за четыре года в пять тысяч триста пятьдесят миллионов сверх обычных расходов"; и оценка Камбона, вероятно, была гораздо ниже фактической. Напрасно Камбон путем частичного банкротства вывел из обращения пятнадцать сотен миллионов франков ассигнатов, на которых было изображение короля. Напрасно Конвент в августе 1794 года по предложению Камбона принял декрет о республиканизации государственного долга, приказал всем кредиторам государства предъявить свои требования, внес их названия в Большую книгу государственного долга, объявил заимствованный государством капитал невозвратным и, невзирая на все заключенные обязательства и все ранее данные обещания высоких процентов, сообщил, что в будущем государство будет выплачивать всем своим кредиторам одинаковые пятипроцентные проценты. Такой упрощенный способ освобождения от обязательств, правда, внес определенный порядок в финансы, но не улучшил кредитоспособность государства. Главным ресурсом правительства по-прежнему оставались ассигнаты, и даже радикальное законодательство времен террора не смогло поддержать их кредит.

Отмена этого радикального законодательства и финансовая политика Конвента зимой 1794-95 годов ускорили их падение^[13]. Цены, больше не фиксированные законом, стремительно росли, поскольку стоимость бумажных денег падала. Правительство, не имея больше возможности полагаться на методы, которые террористы использовали для увеличения своих доходов, и оказавшись лицом к лицу с высокими ценами и уменьшающимся кредитом, не могло придумать ничего лучше, чем выпускать ассигнаты быстрее, чем раньше; и, конечно, с каждым новым выпуском обесценивание увеличивалось. В конце 1794 года в обращении находилось около семи тысяч миллионов франков ассигнатов. В мае 1795 года их количество возросло до десяти тысяч миллионов, в августе - до шестнадцати тысяч миллионов, а в октябре - на много тысяч миллионов больше. Пропорционально этим огромным выпускам стоимость валюты снижалась. В конце правления Террора ассигнаты стоили 33 или 34 процента от их номинальной стоимости. В декабре 1794 года их стоимость упала до 22 процентов. В мае они составляли 7 процентов, а в последующие месяцы упали до 4, до 2 и даже до менее чем 1 процента. Напрасно различные члены Конвента предлагали схемы сокращения этого показателя. У правительства не было других средств, и его расходы, казалось, росли с каждым днем, поскольку на него сыпались требования о компенсации от тех, кто пострадал во время террора. С падением ассигнаций цены поднялись до угрожающей высоты. Все наемные работники, которые не могли повысить свою зарплату пропорционально стремительному росту цен, все, кто жил на фиксированный доход, все, кто зависел от бумажных денег и чьи небольшие сбережения состояли из ассигнатов, остро страдали от экономического кризиса. Некоторое количество людей, например фермеры-арендаторы, платившие арендную плату ассигнатами и многократно увеличивавшие ее за счет высоких цен на кукурузу, должники, которые могли выплачивать давние долги ассигнатами по их номинальной стоимости, и спекулянты, которые со всех сторон начали торговать на колебаниях курса, получили большие прибыли и обогатились. Но для подавляющего большинства людей падение ассигнатов означало тяжелое бедствие. Цены на хлеб, мясо, топливо, все предметы первой необходимости росли, как при осаде. Читаешь о самых фантастических платежах, о тысячах франков, уплаченных за ужин, проезд в такси или за груз дров. Чувство ценности денег исчезло, когда их покупательная способность падала с каждым днем. Но только те, у кого их было много, обладали способностью покупать вообще.

Существует огромное количество свидетельств всеобщего бедствия зимой 1794-95 годов. Со всех сторон поступали жалобы на непомерную дороговизну продуктов питания, и эта беда усугублялась сильными холодами. В Париже и многих крупных городах власти скупали

продукты по разорительным ценам и раздавали их беднякам в виде скудных пайков. Но с течением года эти пайки постоянно уменьшались. Сельские районы горько жаловались, что их морят голодом, чтобы накормить большие города. "Многие семьи, целые коммуны, - писал чиновник из Лаона летом 1795 года, - уже два или три месяца не имеют хлеба и живут отрубями или травами". В окрестностях Кана крестьяне жили на незрелом горохе, бобах и зеленом ячмене. В Пикардии "подавляющее большинство людей" в поисках пропитания ушли в леса. Со всех сторон на правительство сыпались одни и те же сообщения. "Вчера, - писали власти Монтрей-сюр-Мер, - более двухсот наших граждан отправились просить милостыню в деревню"; а те, кто не мог добыть еду другими способами, брали ее силой. Несмотря на усилия властей, не лучше обстояли дела и в крупных городах. В январе в Лионе не было хлеба "целых пять дней". В Труа в марте общественная раздача хлеба сократилась до двух унций в день. В Амьене, несколько месяцев спустя, она полностью прекратилась. В Нанси путешественник заметил толпу из "трех тысяч человек, тщетно просящих несколько фунтов муки". В Париже полиция сообщала о каждом случае несчастья и голода. "Каждый день, - писал друг Малле дю Пану, - я вижу, как люди из бедных слоев населения умирают от голода на улицах..... Рабочие, как правило, вынуждены работать недолго из-за слабости и истощения, вызванных недостатком пищи".

Неудивительно, что это острое бедствие привело к вспышке эпидемии. Многие из тех, кто пострадал больше других, симпатизировали партии якобинцев, а арест лидеров террористов придал определенную политическую окраску агитации, которую породил голод. Но в основном восстание, вспыхнувшее 12 числа (1 апреля), на некоторое время поставившее под угрозу безопасность Конвента и присоединившее к требованию хлеба требование Конституции 93 года, было спонтанным движением, вызванным скорее давлением голода, чем политическими интригами. Лидеры Горы не смогли обратить его в свою пользу. Молодые люди и батальоны секций позволили правительству одержать легкую победу, а провал восстания способствовал дальнейшему развитию реакции. Быстро были приняты решения о высылке Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Вадье и Барера, а также об аресте Камбона, Тьюрио, Амара и других видных членов Горы. Пишегрю восстановил порядок на улицах. Конвентом было принято решение о разоружении террористов и реорганизации Национальной гвардии. Чиновники департаментов и округов были восстановлены в своих прежних полномочиях. Государство, которое уже обязалось выплатить долги эмигрантов, чье имущество было конфисковано, теперь решило вернуть семьям погибших имущество всех лиц, казненных за политические преступления с 10 марта 1793 года. Была назначена комиссия из одиннадцати человек для рассмотрения основ новой конституции. В начале мая Фукье-Тинвиль и несколько его соратников по старому Трибуналу были отправлены на гильотину.

Но якобинцы еще не замолчали. Быстрое развитие реакции беспокоило многих. Появление эмигрантов и священников-неучителей, экстравагантность "Молодых людей", возрождение роялистских взглядов в Париже, ужасные эксцессы, которые начали пятнать реакцию на юго-востоке Франции и которые под руководством "Общества Иисуса" и "Общества Соля" уже превратили Лион в арену убийств и гражданской войны, встревожили термидорианцев и многих других членов Конвента. Большинство изо дня в день колебалось между страхом перед Горой и страхом перед роялистской реакцией, демонстрируя всему миру колебания и слабость правящих сил во Франции. В начале мая якобинцы настолько одержали верх, что провели декрет о немедленном аресте вернувшихся эмигрантов и непримиримых священников, а также о преследовании роялистских изданий. Разоружение террористов практически прекратилось. Высокие цены на продукты и бедственное положение, которое они вызывали, становились все более серьезными с каждым днем, а якобинские агенты

настойчиво пытались поднять рабочих на новое восстание. 1 прериаля (20 мая) их усилия увенчались успехом. Второе восстание, более грозное и лучше организованное, чем Жерминаля, столкнулось с правительством, и Конвенту, после острой борьбы, удалось спастись, лишь уступив требованиям лидеров восстания. Однако честные обещания позволили Собранию получить время, чтобы подтянуть войска для своей защиты. Вечером 22 мая в Париж прибыл сильный отряд кавалерии и пехоты. На следующий день Фобур-Сент-Антуан был осажден и вынужден сдаться по собственному желанию. Были произведены многочисленные аресты. Разоружение террористов было завершено. Все пики были конфискованы. Была проведена реорганизация Национальной гвардии, и право служить в ней было вновь ограничено представителями буржуазного класса. Была создана временная военная комиссия для суда над обвиняемыми в соучастии в восстании, а Революционный трибунал был упразднен. Шесть видных депутатов Горы, включая Гужона, Ромма, Субрани и Бурботта, были отправлены на эшафот. Лебон, давно арестованный, Панис, почти забытый, Линде, Жан Бон Сент-Андре, Гуффруа и Рюль, все, за исключением трех членов двух сомнительных комитетов, Паше, Бушотта и нескольких их соратников по бывшему военному министерству, разделили проскрипцию своей партии. Влияние крайних якобинцев было окончательно уничтожено, и вновь восторжествовала политика реакции.

Решительный успех умеренной партии не мог не отразиться на европейской политике. К моменту восстания в Прериале французское оружие было полностью победоносным, и многие начали надеяться на прекращение войны. История революционных армий - это лучшая часть Французской революции. Здесь дух, который вдохновлял Революцию и который так бесплодно тратился в Париже, проявился в энтузиазме, преданности и галантности войск. Там же проявились высокие качества якобинских администраторов, их решительный патриотизм, бесстрашная сила и находчивость. Там правительство, которое в Париже казалось лишь правительством тиранов, проявило себя как правительство героев. Там политики и интриганы Террора обратились к более благородной работе по защите страны. Карно и Сен-Жюст, Мерлен Тионвильский, Рюбель и Баррас, Мильо и Субрани, Ришар, Друэ, Кавеньяк и Фабр д'Эро - вот лишь некоторые из многих храбрецов, которые, будучи представителями Миссии при войсках, вдохновляли французские войска своим возвышенным мужеством, поучая и показывая им на своем примере невозможность поражения. Энтузиазм, который растратили политические интриги, нашел в войне более глубокое выражение, а выравнивающая свобода Республики открыла перед всеми чинами перспективы великой карьеры. В кампаниях 1793-94 годов Хош, Пишегрю и Журдан уже достигли наивысшего положения, а Моро и Клебер, Бернадот, Ней, Даву, Ожеро и Виктор, Сульт, Массена, Бонапарт завоевывали себе признание и командование. Правда, поначалу французские войска были плохо организованы и недисциплинированы, а их ранние успехи объяснялись главным образом несогласием или неспособностью их противников. Но ход войны и энергичные меры якобинского правительства вскоре привели к заметным переменам. Не было недостатка в материалах, из которых можно было бы почерпнуть. К старой королевской армии добавились батальоны национальной гвардии, добровольцы, собранные в 1792 году, *массовый* сбор того же года, от которого, однако, было очень мало пользы, сбор в 300 000 человек, сформированный, в основном, путем призыва, весной 1793 года, и войска, собранные летом следующего года императивными декретами правительства, требовавшими службы всех мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Взяв этот материал, Конвент приступил к работе, и усилия Дюбуа-Крансе и Карно,

поддержанные их умелыми советниками и дополненные энергичными действиями и широкими полномочиями большого Комитета, увенчались полным успехом. Особая заслуга в этом принадлежит Дюбуа-Крансе. Именно он зимой 1793-94 годов наконец провел через Конвент великий план реорганизации армии, за который он так долго выступал, обязал правительство соблюдать принцип воинской повинности и объединить регулярную армию с добровольческой, а также объединить эти два элемента, разделив армию на полубригады, состоящие из одного батальона регулярной армии и четырех - добровольческой. Результатом этих мер стало формирование великолепной армии, которая по численности, дисциплине и духу своих солдат могла сравниться с объединенными силами Европы.

Кампания 1793 года, одно время угрожавшая Франции серьезной опасностью, завершилась полным успехом. Ценные победы Гушара и Журдана на северо-восточной границе в сентябре и октябре отбросили союзников к Бельгии. Не менее значительные успехи Хоше и Пишегрю, последовавшие в Эльзасе, отбросили победоносных австрийцев и пруссаков за Рейн. Отважным повстанцам Вандеи наконец-то противостояла мощная армия под командованием высококлассного генерала, и в октябре они были разбиты Клебером при Шолле, а затем разгромлены при Ле-Мане. К концу года Франция располагала десятью действующими армиями и эффективными силами численностью около шестисот тысяч человек. На северо-востоке от Страсбурга до моря простирались четыре армии: Рейнская, Мозельская, Арденнская и Северная. Далее на юге армия Альп занимала Савойю, а армия Италии, только что овладевшая Тулоном, ждала нового командующего, чтобы начать свою блестящую карьеру. На западе еще две армии удерживали Пиренеи, а третья следила за повстанцами в Вандее; на северном побережье армия Нормандии, еще не сформировавшаяся в определенную силу, охраняла морской берег и тщетно мечтала о вторжении в Англию.

С такими ресурсами союзники не могли соперничать. Но даже если бы войска были в наличии, их разъединение сделало бы победу невозможной. В 1794 году, когда Франция готовилась с самыми радужными перспективами возобновить кампанию, давняя ревность между Австрией и Пруссией достигла своего апогея. Австрийский министр Тугут ненавидел своих прусских союзников еще больше, чем французских врагов, и, доведя до крайности традиционный эгоизм австрийской политики, интриговал со всех сторон ради территориального обогащения и разрабатывал планы расширения австрийских владений во всех уголках Европы, во Фландрии и Эльзасе, в Турции и Польше, в Баварии и Венеции. На севере Россия с каждым днем приближалась к завершению своего давно подготовленного наступления на польскую свободу, а Пруссия, решив не оставаться в стороне, когда ее соперники будут делить добычу Польши, обратила свое внимание и свои силы на Вислу, когда симпатии ее короля с радостью обратились бы к Рейну. Напрасно английское правительство с новой силой бросилось в войну, старалось сплотить коалицию и обещало щедрые поставки. В апреле 1794 года, в тот самый момент, когда Мальмсбери, английский посланник в Гааге, обещал Англии, Голландии и Пруссии возобновить усилия в войне с Францией, вспыхнуло польское восстание в Варшаве, и мужественная борьба Костюшко за свободу отвлекла внимание центральных держав. Было очевидно, что пока польский вопрос не будет решен, ни Пруссия, ни Австрия не будут действовать энергично против французов. Поэтому французские войска на северо-восточной границе, теперь уже под командованием Пишегрю и Журдана, выступили против разделенных союзников, разбили их при Туркуане и Флерюсе и 11 июля вступили в Брюссель. Затем последовало завоевание Бельгии и вторжение в Голландию. Пока Суворов подавлял восстание в Польше, а Австрия и Россия разрабатывали планы раздела этой несчастной страны, к которым впоследствии вынуждена была присоединиться Пруссия, французские войска продвинулись в Голландию, обратили в

бегство принца Оранского и заняли Гаагу и Амстердам. Наконец Пруссия, изолированная и встревоженная, согласилась открытые переговоры, а 5 апреля она окончательно отделилась от Австрии и заключила мир с Францией по Балескому договору.

Многие надеялись, что договор в Бале станет началом всеобщего мира и подготовит почву для реставрации роялизма. Новые волнения среди крестьян Вандеи и их союзников - шуанов Бретани, спровоцированные в 1794 году безжалостной политикой Республики, "адскими колоннами" Турро и тиранией Каррье в Нанте, весной 1795 года были утихомирены примирительной политикой республиканских генералов, и долгая борьба на Западе, казалось, близилась к завершению. В Пиренеях наступление французов заставило испанское правительство пойти на уступки, и в июле был заключен мир между Францией и Испанией. В Париже подавление восстания в Прериале вызвало большие надежды у роялистов. Казалось, многое указывает на восстановление Конституции 91-го года, которая в то время, как и в более ранний период, вероятно, удовлетворила бы желания большинства нации. Но события распорядились иначе. Высокие требования французского правительства, энергичность английской дипломатии и урегулирование польской проблемы, оставившее императору свободу действий, разочаровали ожидания всеобщего мира. Летом 1795 года Англия, Россия и Австрия сблизились и образовали новый союз для продолжения войны. В начале июня несчастный маленький дофин умер в тюрьме, и его смерть нанесла тяжелый удар по надеждам конституционной партии. Многие, кто приветствовал бы сына Людовика XVI в качестве конституционного короля, не могли примириться с восстановлением графа де Прованса, вождя эмигрантов, воевавших против Франции, принца, который, ничему не научившись в невзгодах, по-прежнему осуждал в самых жестоких выражениях все изменения, которые ввела Революция, и по-прежнему осуждал как врага Бурбонов каждого сторонника умеренности или либеральных идей. Французский народ совершил революцию не для того, чтобы восстановить Древний режим. Попытка эмигрантов возобновить войну на Западе путем несвоевременного нападения на Киберон, хотя и была пресечена Хошем в июле и с ужасающей суровостью наказана Конвентом, возродила глубоко укоренившуюся враждебность, которую все друзья Революции питали к эмигрантам. Свежие вести, приходящие с юга, о чудовищных эксцессах, совершенных во имя реакции в Марселе и Авиньоне, Тарасконе и Эксе, сдерживали ее прилив. Быстрое распространение роялистских взглядов в Париже, угрожающее поведение "Молодых людей" и секций в конце концов встревожили термидорианцев. Члены Конвента напомнили себе, что они привержены мерам Революции, и начали опасаться, как бы ход событий не завел их слишком далеко и не втянул в гибельную для них самих политику.

В итоге конвент выбрал средний курс. Конституция 1795 года сохранила республиканскую форму и распределила верховную исполнительную власть между Директорией из пяти человек. Законодательная власть была возложена на парламент, состоящий из двух палат: Совета пяти сотен, которые должны быть старше тридцати лет, и Совета древних, которые должны быть старше сорока. Парламент должен был избирать Директорию, но функции каждого из них были строго определены; законодательная и исполнительная власти были строго разграничены, и сердечное сотрудничество между ними было практически невозможно. На опыте прошлого Конвенту стало ясно, что исполнительная власть должна быть сильной, но он еще не понял, как глупо делать законодательную и исполнительную власть независимыми соперниками, а не гармоничными союзниками. Новый парламент должен был действовать три года, но треть его членов могла ежегодно обновляться. Помимо этих новых правил, Конвент, отвергнув ряд фантастических предложений, выдвинутых Съесом, придерживался основных положений Конституции 1791 года. Была восстановлена система двойных выборов. Право голоса было ограничено небольшим имущественным

цензом. В местном управлении сохранялось деление на департаменты и коммуны. Но коммуны были строго подчинены департаментам, округа упразднены вовсе, а численность и полномочия чиновников сокращены настолько, чтобы упростить всю систему и усилить власть центрального правительства. Другие статьи устанавливали свободу вероисповедания, свободу труда и свободу печати, запрещали политические клубы и федерации, а также запрещали возвращение эмигрантов во Францию.

Но хотя большинство членов Конвента уступило требованию о создании оседлого правительства, они не желали угасать. Они понимали, что при существующем настроении нации у них мало шансов вернуться к власти, и опасались, до чего может дойти реакция. Поэтому они сразу же приступили к применению принципов, заложенных в новой конституции для обновления законодательного органа, и декретами от 5 и 13 фруктидора (22 и 30 августа) объявили, что две трети новых советов должны состоять из членов Конвента, а оставшаяся треть должна быть выбрана из новых людей на всеобщих выборах. Эти декреты, ратифицированные первичными собраниями и подтвержденные Конвентом в сентябре, вызвали всеобщее возмущение в Париже. Многочисленные приверженцы реакции, уже давно нетерпеливые и горько возмущенные тем, что Конвент предлагает сохранить свою власть вопреки настроениям нации, взорвались преждевременным бунтом. Секция Лепеллетье возглавила движение, созвала национальную гвардию и призвала другие секции подняться против тирании Конвента. 13 вандемьера (5 октября) вспыхнуло восстание. Повстанцы двинулись на Собрание, где им противостояли войска Барраса и артиллерия Наполеона Бонапарта, и триумф правительства был обеспечен.

Тщетным восстанием Вандемьера заканчивается история Революции. Провал восстания в Секциях нанес резкий удар по надеждам реакции. Она определила характер новой Директории. Она установила у власти правительство, состоящее из людей, выбранных исключительно из передовых республиканцев, никогда в согласии с собственным парламентом, вне симпатий с широкими массами нации, полагающееся на насилие для поддержания своей власти, пользующееся доверием немногих и не пользующееся уважением ни у кого. Директория опиралась на армию. Она научила войска тому, чего никогда не признавали якобинцы, - что они могут распоряжаться судьбами государства, и когда представился случай и лидер, войска ответили на это выбором своего правителя. Этого правителя все партии встретили с облегчением. Он сразу же принял должность главы народа, ибо знал, что народу нужен покой. "Теперь, - говорили крестьяне Франции, вспоминая волнующие приключения прошлого, - теперь мы спокойны, благодаря Богу и Бонапарту".

Об уроках Французской революции должны рассказать не историки, а другие люди. Даже на таком расстоянии мы, пожалуй, вряд ли способны их понять. При всех своих ошибках и разочарованиях она знаменует собой эпоху в развитии человечества, ибо она атаковала и навсегда выкорчевала систему привилегий и социальной несправедливости, основанную на интеллектуальном рабстве и безжалостной деградации бедняков. Она разрушила эту систему не только во Франции, но и во многих частях и княжествах Европы. Она позволила французам приблизиться к равенству. Она принесла бы им свободу, если бы они знали, что такое свобода. Никто не может отрицать, что в самом начале Революция была встречена во Франции с непревзойденным энтузиазмом, и что в целом ее ратифицировало каждое поколение французов. Но перед лицом представленных нам доказательств уже невозможно сомневаться в том, что руководство ее последующими фазами оказалось в руках хорошо организованного меньшинства, которое, хотя и отличалось храбростью, по характеру было недостойно доверия, чьи методы французы никогда не санкционировали, а преступления

никогда не оправдывали. Несомненно, в этом меньшинстве можно найти примеры прекрасных качеств и высоких стремлений, твердых, хотя и узких принципов, чистого энтузиазма в отношении социальных реформ, стойкой преданности государственной службе, любви к родине, с которой редко кто может сравниться. В исторических сводках слишком часто упускаются из виду исключения, а при классификации людей нелегко быть справедливым ко всем. Возможно, некоторым экспериментам Террора даже сейчас суждено пробудить растущую симпатию и интерес мира; и эти эксперименты не будут напрасными, если они донесут до нас неумолимую максиму, что ни одна страна не может быть возрождена плохими людьми, и что благородные порывы пусты и бесплодны без разумного понимания того, что осуществимо и справедливо, что народы чтят и чем они живут.

СНОСКИ:

[13] Законы о максимуме были практически отменены общественным мнением после Термидора. Не похоже, что их фактическая отмена в конце декабря имела какой-либо заметный или немедленный эффект в снижении стоимости ассигнатов. Скорее, новые выпуски завершили падение курса ассигнатов. Этот спад продолжался с 1791 года и не был остановлен, хотя, возможно, и был отсрочен, законодательством Террора.

ТАБЛИЦА

ОСНОВНЫХ ДАТ В ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

1774.		Вступление на престол Людовика XVI.
1774-76.		Министерство Тюрго.
1776-81.		Первое министерство Неккера. Союз с Америкой и война с Англией.
1783-87.		Министерство Калонна.
1787.	Февраль.	Созыв нотаблей.
	Апрель.	Отставка Калонна.
1787-88.		Министерство Ломени де Бриенна. Борьба с Парламентами. Людовик обещает созвать Генеральные штаты.
1788.	Август.	Возвращение и второе министерство Неккера.
	Ноябрь.	Второй созыв Нотаблей.
1789.	28 апреля.	Бунт на Ревейоне, первый серьезный бунт в Париже.
	5 мая.	Собрание Генеральных штатов в Версале.
	17 июня.	Генеральные штаты

		принимают титул Национального собрания.
	" 20.	Присяга на теннисном корте.
	" 23.	Королевское заседание. Общины бросают вызов короне. Союз трех сословий. Реакционные планы при дворе.
	11 июля.	Увольнение Неккера. Назначение реакционного министерства, поддерживаемого сильной демонстрацией войск.
1789.	14 июля.	Восстание в Париже и взятие Бастилии. Покорность короля и отзыв Неккера.
	" 17.	Примирительный визит Людовика в Париж. Учреждение парижского муниципалитета и национальной гвардии. Начинается эмиграция. В разных частях Франции начинаются восстания и беспорядки.
	4 августа.	Отмена феодальных прав, десятины и всех видов привилегий.
	Сентябрь.	Усиление бедствий и волнений в Париже.
	1 октября.	Военный банкет и демонстрация роялистов в Версале.
	" 5-6.	Марш парижских женщин к Версалю и их возвращение с королевской семьей в Париж.
	2 ноября.	Декрет Собрания объявляет имущество церкви собственностью нации.
	" 7.	Декрет Собрания делает невозможным для министров быть членами Палаты.
1790.	10 мая.	Начинаются "Записки для суда" Мирабо.
	12 июля.	Гражданская конституция

		духовенства принята Собранием.
	" 14.	Праздник Федерации в честь взятия Бастилии.
	Август.	Серьезный мятеж в армии Нанси подавлен Буйе.
	10 сентября.	Отставка Неккера.
	27 ноября.	Декрет Ассамблеи обязывает духовенство под страхом увольнения принести клятву соблюдать новую конституцию (санкционированную королем 26 декабря).
	Дек.	Мирабо - президент Якобинского клуба.
1791.	30 янв.	Мирабо избран председателем Собрания.
	2 апреля.	Смерть Мирабо.
	" 18.	Король пытается выехать из Парижа в Сен-Клу, но его останавливает толпа.
	20 июня.	Бегство в Варенн.
	17 июля.	Демонстрация республиканцев и резня на Марсовом поле. Митинг Конституционной партии и восстановление короля в должности.
	27 августа.	Император Леопольд и король Пруссии встречаются с французскими принцами- эмигрантами и принимают Пилльницкую декларацию.
	4 сентября.	Людовик публично принимает новую конституцию.
	" 30.	Последнее заседание Учредительного собрания.
	1 октября.	Первое заседание Законодательного собрания.
	1 ноября.	Император Леопольд издает циркуляр державам о недопустимости вмешательства во дела

		Франции.
	" 9.	Декрет Собрания предписывает эмигрантам под страхом самых суровых наказаний вернуться во Францию (вето наложено королем).
	" 17.	Петион избран мэром Парижа через голову Лафайета.
	" 29.	Декрет Собрания предписывает изгнание священников, которые не принесут присягу Конституции (вето короля).
	7 декабря.	Нарбонн назначен военным министром.
1792.	1 марта.	Смерть императора Леопольда.
	" 9.	Увольнение Нарбонна. Формирование жирондистского правительства.
	20 апреля.	Франция объявляет войну Австрии. Французские войска переходят бельгийскую границу, но терпят поражение.
	27 мая.	Декрет, разрешающий изгнание непримиримых священников (вето наложено королем).
	" 30.	Увольнение королевской конституционной гвардии.
	8 июня.	Декрет о сборе в Париже 20 000 фельдъегерей (вето наложено королем).
	" 12.	Людовик увольняет своих министров-жирондистов.
	" 20.	Вторжение толпы в Тюильри.
	11 июля.	Страна объявлена в опасности.
	" 25.	Пруссия объявляет войну Франции. Манифест герцога

		Брауншвейгского.
	" 30.	Фельдъегеря из Марселя прибывают в Париж.
	10 августа.	Взятие Тюильри и свержение монархии.
	" 20.	Дезертирство Лафайета.
	" 23.	Капитуляция Лонгви.
	" 28.	Поиск оружия и арест подозреваемых в Париже.
	2 сентября.	Начинается резня в тюрьмах в Париже. Сдача Вердена.
	" 20.	Дюмурье при Вальми сдерживает продвижение союзников.
	" 21.	Заседание Национального конвента. Провозглашение республики.
	20 октября.	Французы под командованием Кюстина захватывают Майенс.
	6 ноября.	Дюмурье выигрывает битву при Жемаппе и завоевывает Бельгию.
	" 18.	Декрет о помощи Франции всем народам, желающим свободы (отозван весной следующего года).
	Дек.	Начинается суд над королем.
1793.	21 янв.	Казнь Людовика.
	1 февраля.	Франция объявляет войну Англии и Голландии. Переворот во французской армии; отказ от вторжения в Голландию.
	9 марта.	Образование Революционного трибунала.
	" 10.	Несостоявшееся восстание якобинцев в Париже.
	" 18.	Поражение Дюмурсеа при Неервиндене и потеря Бельгии.
	3 апреля.	Дезертирство Дюмурсеа.
	" 6.	Учреждение Комитета общественной безопасности.

		Первые значительные успехи повстанцев в Вандее.
	31 мая.	Восстание якобинцев против жирондистов.
	2 июня.	Окончательная победа восстания и проскрипция жирондистских лидеров.
	13 июля.	Убийство Марата. Наступление союзников; французы теряют Конде, Валансьенн и Майенс.
	5 сентября.	Террор объявлен порядком дня.
	5 сентября.	Гушар выигрывает сражение при Хондшётене и добивается других успехов, которые вынуждают союзников отступить.
	" 17.	Установление максимума и закона против подозреваемых. Австрийцы вторгаются в Эльзас.
	15-16 октября.	Журдан, сменив Гушара, выигрывает сражение при Ваттиньи.
	" 16.	Казнь Марии-Антуанетты.
	" 17.	Решающее поражение венецианцев при Шолле.
	" 31.	Казнь лидеров жирондистов в Париже.
	10 ноября.	Установление культа Разума и возвышение партии Коммуны.
	Дек.	Камиль Десмулен основывает Въё Корделье. Борьба партий в Якобинском клубе. Уничтожение Вандейской армии при Ле-Мане. Хош и Пишегрю, добившись ряда успехов, изгоняют австрийцев из Эльзаса.
1794.	24 марта.	Казнь Эбера и руководителей Коммуны.
	5 апреля.	Казнь Дантона, Десмулена и

		их друзей. Вспышка восстания Костюшко в Польше.
	18 мая.	Пишегрю, сменив Журдана, наносит поражение союзникам в битве при Туркуане.
	1 июня.	Лорд Хоу разбивает французский флот в большом морском сражении.
	" 8.	(20 прериала). Праздник Верховного Существа.
	" 10.	(22 Prairial). Закон о воссоздании Революционного трибунала.
	" 26.	Журдан, сменив Хоша, выигрывает сражение при Флерюсе. Французы вновь оккупируют Бельгию.
	27 июля.	(9-е термидора). Падение Робеспьера.
	Сентябрь.	Успехи Суворова в Польше.
	10 октября.	Сокрушительное поражение поляков под Мацеёвицами.
	7 ноября.	Капитуляция Варшавы перед русскими.
	" 12.	Закрытие Якобинского клуба в Париже.
	8 декабря.	Семьдесят три депутата- жирондиста отозваны в Конвент.
	" 23.	Отмена законов о максимуме. Решительное движение французских войск против Голландии.
1795.	3 янв.	Россия и Австрия в Петербургском договоре согласовывают условия окончательного раздела Польши. Французы входят в Утрехт, Амстердам и Гаагу, а штадтхольдер бежит. Затем следует полное завоевание Голландии.

<i>Февраль.</i>	Перемирие между республиканскими генералами и вождями вандейцев.
<i>2 марта.</i>	Арест Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Барера и Вадье по решению конвента .
<i>" 8.</i>	Оставшиеся в живых жирондисты, проскрибированные 31 мая, отозваны в Собрание.
<i>1 апреля.</i>	(12-го Жерминаля). Хлебные бунты и нападение на Конвент.
<i>" 5.</i>	Балеанский договор между Францией и Пруссией.
<i>20 мая.</i>	(1-е прериаля). Восстание якобинцев и нападение на Конвент.
<i>8 июня.</i>	Смерть Дофина в тюрьме.
<i>Июль.</i>	Мир между Францией и Испанией. Неудача экспедиции эмигрантов в Киберон.
<i>Август.</i>	В ходе дебатов по новой конституции Конвент декретами от 5 и 13 фруктидора (22 и 30 августа) добивается переизбрания в законодательный орган двух третей своего состава.
<i>23 сентября.</i>	Провозглашение Конституции III года и декретов о выборах. Новая коалиция между Англией, Австрией и Россией против Франции.
<i>5 октября.</i>	(13-е Вендемера). Восстание реакционных секций против Конвента, разгромленное Бонапартом.
<i>" 26.</i>	Закрытие Национального конвента.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Примечание. Приведенный ниже список книг не претендует на полноту. Он представляет собой подборку некоторых наиболее важных для использования студентами. Те из них, которые отмечены звездочкой, должны дать достаточно точное представление о данном периоде.

I. Учебник.

* *"Французская революция"* миссис Гардинер (серия "Эпоха" издательства Longmans, два шиллинга и шесть пенсов) - безусловно, лучший и самый полезный учебник.

II. Полные истории.

**"Французская революция"* Карлайла до сих пор остается непревзойденной по драматическому великолепию своего повествования и блестящим портретам, которые она содержит.

История Французской революции фон Зюбеля (4 тома, перев.), возможно, самая ценная из многих больших историй, но она сурово критична и иногда несправедлива к передовым революционерам. Она в значительной степени занята историей Германии, Польши и других стран того времени.

Книга Луи Блана *"История Французской революции"* (12 томов) - это длинная и красноречивая защита Революции и особенно Робеспьера.

Книга Мишле *"История Французской революции"* (7 томов) - блестящий и сочувственный труд, более критичный, чем труд Луи Блана.

**История Французской революции* Морса Стивенса (3 тома. - последний пока не опубликован) - новейшее английское изложение этого периода, содержащее много ценных биографических сведений. По тону она благосклонна к партии якобинцев.

(Истории Минье, Тьера, Кинэ, *"Двух друзей свободы"* и других также представляют значительную ценность).

III. Критические и иллюстративные работы.

**"Социальный договор"* Руссо; опубликован за 25 сантимов в Национальной библиотеке.

Путешествие Артура Янга по Франции.

**"L'Ancien Régime"* де Токвиля (в переводе *"Франция до революции"*); представляет наибольшую ценность для изучения состояния Франции в XVIII веке.

**"Истоки современной Франции"* Тейна (4 тома); блестящая работа, длинная, обширная и сурово-критическая в своих суждениях, но, несмотря на свою предвзятость, полная ценной информации, особенно в примечаниях. Первый том посвящен *"Древнему режиму"*, три последующих - *"Революции"*.

Размышления Берка о Французской революции.

L'Europe et la Révolution Française Сореля (2 тома); очень толковая и недавняя работа по иностранным аспектам революции.

Tableaux de la Révolution Française" Шмидта (3 тома); собрание документов, относящихся в основном к тайной полиции Парижа, некоторые из которых представляют большую ценность.

Histoire de la Terreur" Мортимера-Терно (8 томов); длинный и тщательный труд, написанный с большой тщательностью и весьма критично настроенный по отношению к лидерам революции.

IV. Биографии, мемуары и переписка.

Вольтер, Жизнь, Джон Морли.

Дидро, Жизнь, Джон Морли (2 тома).

Руссо, жизнь, Джон Морли (2 тома). Второй том содержит восхитительный рассказ об Общественном договоре.

*Тюрго, эссе Джона Морли (Miscellanies, vol. II).

Bailly, *Mémoires* (3 vols.); лучший оригинальный отчет о первых пяти месяцах Революции.

*Mirabeau, *Correspondance avec La Marek* (3 vols.); безусловно, самая важная книга о политике и взглядах Мирабо. *Souvenirs sur Mirabeau* Дюмона - личные и очень интересные.

Ferrières, *Mémoires* (3 vols.); хороший отчет о событиях до 10 августа, с точки зрения независимого консерватора.

*Madame Roland, *Mémoires*.

Марат, Жизнь, автор Шевремон.

Дантон, Жизнь, Бужар и Робинэ.

*Робеспьер, очерк Джона Морли (Miscellanies, vol. I). Месье Гамель опубликовал в трех длинных томах подробную "*Историю Робеспьера*", которая содержит восторженный панегирик своему герою.

Сен-Жюст, Жизнь, автор Гамель.

Pontécoulant, *Souvenirs historiques et parlementaires* (4 vols.); ценно для периода после падения Робеспьера.

(Мемуары Малюзэ, Буйе, Дюмурье, мадам де Кампан, Бертрана де Моллевиля, Малле дю Пана, Гарата, Барера и многих других представляют интерес и ценность).